

Марк Эдельштейн

«Обычное дежурство»
на Диксоне

Иерусалим

2005

Марк Эдельштейн

«Обычное дежурство»
на Диксоне



ИЕРУСАЛИМ
2005

Марк Эдельштейн

«Обычное дежурство» на Диксоне

Макет и оформление
И. Рацкевич

Фотографии автора

©2004 Марк Эдельштейн

Моим друзьям

Это предисловие ко второму изданию моей книги. Первое издание громадным тиражом, порядка пятнадцати – двадцати экземпляров, уже разошлось по друзьям и родственникам в Израиле, в России и даже в Америке, то есть – книга получила уже, можно сказать, и международное признание. А раз так, то без второго издания, таким же тиражом, уже никак не обойтись. Я немного переработал и дополнил ее, а главное то, что это будет уже настоящая книга, а не рукопись, мной переплетенная..

Появлением этой книги я обязан своим внукам. Нет, нет вы неправильно подумали: к моему великому сожалению они читать ее не будут. Говорят они на русском языке прекрасно, а вот читать не желали и не желают. Ну, это – особая тема.

А история такая: что покупают современному еврейскому ребенку при рождении? Правильно: соску и компьютер. Почему я говорю – еврейскому? Просто потому, что я живу в Израиле, среди евреев, а не среди «поляков», датчан, и разных прочих шведов». В доказательство этого тезиса я могу предъявить фотографию моего Йоньки (младшего внука), сидящего с соской во рту, и увлеченно играющего в какую то игру на компьютере. Когда же в мире появляется более совершенный компьютер, то он немедленно покупается (ребенок должен уметь управляться с современной техникой), а старый передается для освоения деду, дабы и он на старости лет познал, что это есть такое – компьютер!

Ну, а освоение компьютера я начал, естественно, с клавиатуры. Если есть клавиши с буквами, то надо научиться по ним правильно ударять. Вначале на поиски одной буквы уходила примерно минута, потом меньше, меньше. И когда, в конце концов, я достиг такого совершенства, что стал более или менее правильно находить 20 (двадцать!!) букв в минуту, я по-

нял, что пора вспомнить о тридцати восьми годах, проведенных в небе, особенно – в Арктике.

Это мой первый опыт. А поэтому – пожалуйста, будьте снисходительны к разного рода огрехам. А содержание, я надеюсь, может оказаться интересным.

*Иерусалим, март
2005 года*

Марк Эдельштейн

Первая работа

Москва, год 1944, давно это было, около шестидесяти лет назад. И, в то же время, кажется, совсем недавно, так хорошо все вспоминается.

Мы с папой вернулись из эвакуации из Орска. Дом разрушен, жить негде. Некоторое время мы жили у тети Фани, это мамина сестра. Она жила в одной большой комнате с другой сестрой – Розой, которая всю войну была на фронте. Ну для тех, которые постарше, нет необходимости подчеркивать, что квартира была коммунальная. В этой комнате мы и жили какое-то время.

А потом папа получил комнату от работы. Работал он в Управлении московского трамвая, и комната была в общежитии трамвайщиков. Это был двухэтажный деревянный дом бабочного типа: коридор во всю длину дома, комнаты слева и справа, внизу одна кухня с плитой и кубом для горячей воды и «удобства» на дворе, метрах в пятидесяти. Память сохранила даже адрес: Соболевский проезд, дом 28. Это Тимирязевский район Москвы, в то время это была окраина Москвы.

Поступил я в шестой класс 215-й мужской школы. И вот летом, после окончания учебы, нас, т.е. весь класс, отправили на работу в Тимирязевскую Сельскохозяйственную Академию.

Работали мы на Полевой опытной станции, там ученые занимались овощеводством. А мы в две смены, сменяя друг друга, пропахивали грядки редиски, спаржи, турнепса, гороха, огурцов и прочих вкусных вещей. А время, надо сказать, было тогда о-очень голодное!

Ну вот – пололи мы, пололи, и вот начали наши овощи маленьку созревать. И вот тут-то и начинается самое интересное. Нашу группу перевели на другую работу. Но на какую??!!

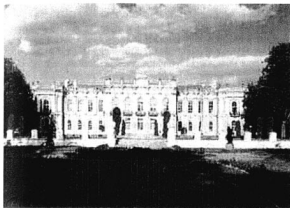
Работа бывает самая различная: интересная и неинтерес-

ная, легкая и тяжелая, квалифицированная и неквалифицированная, хорошая и плохая; но, как говорится, бьюсь об заклад, никто не догадается какую работу нам предложили! А предложили нам сделать рогатки, набрать камней и гонять воробьев с территории нашей Полевой опытной станции!! И положили нам за это – 180 руб. и двухразовое питание!!! Надо знать то тяжелое и голодное время, чтобы хорошо понять, что это такое было для мальчишки – 180 руб. и двухразовое бесплатное питание!

Дело в том, что для ученых дам-агрономш естественно было очень важно знать, что они вырастили: сколько зернышек, сколько редисочек, ну и так далее. А воробьи – существа прожорливые!

И вот нас поставили охранять урожай от этих прожорливых существ. Бедные ученые дамы! Они долго и тяжело учились, они защищали диссертации, пробиваясь в науку, но они совершенно не понимали что творили! Чтобы было ясно, о чем идет речь, я просто опишу один рабочий день.

Итак: одевшись в боевую форму (тут главное – количество карманов), подготовив и проверив оружие (рогатку) и набив два кармана боеприпасами (каменьями), я к пяти часам утра являюсь на свой боевой пост. Первые 15-20 минут я воюю с воробьями. Настреляв их штук 5-6 и развесив их на проводах, чтобы была видна работа, больше я на них внимания не обращал. До следующего утра! После этого 20-30 минут уходило на то, чтобы, выгрузив боеприпасы, набить один карман редиской, другой – горохом, третий – репой, ну – и так далее, полная заправка! После этого я залезал на дерево, свисавшее над прекрасным старинным прудом, открывал интересную книжку и забывал обо всем....до окончания запаса, правда, иногда поглядывая одним глазом: не идет ли научная дама сделать мне вытек. На это уходило часа три, затем все это повторялось еще раз. А потом я, с чувством честно выполненного долга, шествовал в столовую, кушал тяжело заработанный обед с двумя вторы-



г. Москва, Сельскохозяйственная Академия им. Тимирязева

ми и двумя компотами, – ведь питание то двухразовое!

Вот такая у меня была работа.

С этим периодом у меня связано еще одно воспоминание.

В один прекрасный день мы вдруг услышали, что через центр Москвы ведут пленных немцев! Разве у нас был выбор – что делать? Мы мгновенно рванули в центр, на улицу Горького и застали еще это зрелище. А сразу за последними колоннами немцев шли десятки поливальных машин и мыли улицы. И все мы, даже мальчишки, понимали – скоро конец войне, скоро – победа!

Н а ч а л о

Как становятся летчиками? Как молодые восемнадцатилетние юноши начинают летать? Как они впервые берутся за ручку управления и впервые поднимаются в воздух? Как они впервые делают переворот через крыло или вводят самолет в штопор – с инструктором в передней кабине – и как они это делают впервые в самостоятельном полете, когда инструктор далеко – далеко на земле?

И вообще: как инструктор учит летать, управлять самолетом?

Дело в том, что ответить на эти и многие другие вопросы ни один писатель, даже самый талантливый, не может, если, конечно, он сам не был летчиком, сам не прошел эту школу. Поэтому на эту тему мало что написано. А это, мне кажется, может быть достаточно интересно.

Попробую вспомнить об этом периоде, насколько он сохранился в моей памяти, ведь это было «всего» пятьдесят пять лет назад. Впрочем, это то, что не забывается никогда.

Когда в книгах пишут о жизни какого-то летчика, то почти всегда получается так, что мальчик еще в младенческом возрасте, кушая мамино молочко, одновременно одним глазком обязательно уже косится вверх, в небо и туда же показывает пальчиком пухленькой ручки. Хочу в небо!

Не знаю, как у других, а у меня, надо честно сказать, было совсем не так. Конечно, как и все мальчишки, я взахлеб читал книги о летчиках-испытателях, знал наизусть фамилии «папанинских» летчиков и штурманов (мог ли я тогда думать, что с большинством из них мне предстоит близко познакомиться и даже работать вместе!), а также летчиков, спасавших челюскинцев. Но все это не имело никакого отношения к мыслям о будущем. Да и были ли они тогда, эти мысли?..

После семи классов пошел на первый курс вечернего техникума и поступил на работу учеником слесаря, а потом – ла-

борантом в НИИ-20. Эта «научная» организация занималась тем, что передирала «один к одному» американский радиолокатор управления зенитным огнем СЦР-584, стоявший на территории НИИ, в результате чего через какое-то время у нас появился прекрасный советский («лучший в мире», конечно!) локатор СОН-2 (СОН – станция орудийной наводки). Я отвлёкся немного, но сама эта тема очень интересная: СОН-2, Ту-4, Ту-144, Ан-12 и многое, многое другое. Но я надеюсь к этой теме еще вернуться, она того стоит.

Весной 1947 года я заканчивал второй курс Московского Электромеханического техникума по специальности «тиро-скопическая стабилизация». И вот тогда впервые мне пришла в голову мысль о военном училище, о Военно-МОРСКОМ, а не авиационном училище.

Время подходило к экзаменам, без успешного окончания второго курса о поступлении в училище и думать было нечего (если нет десяти классов, то допускалось семь классов и два курса техникума). Надо подналег. Подналег, сдал, остался последний – сопромат. И вдруг я с ужасом понял, что равным счетом ничего не знаю! Ну – ничеготеньки не знаю, а до экзамена три дня, а сопромат – это сопромат, и положение, прямо скажем, безвыходное. Да, и вот в таком состоянии я пришел к тете Фане, это моя тетя, мамина сестра. Она жила недалеко от техникума на Покровке, которая временно, 73 года, называлась улицей Чернышевского. Ну и конечно рассказал ей, почему у меня такое плохое настроение. А тетюшка моя подумала и говорит, что случай, конечно, тяжелый, но не смертельный, что трое суток – это достаточно большой срок, за который можно заново изучить предмет, а не то, чтобы только подготовиться к экзамену. Да, но как же без отдыха, ведь не выдержи столько! А вот тут, говорит, я тебе помогу. А тетя Фаня, надо сказать, всю свою жизнь проработала в аптеке. Вот тебе, говорит, таблетки «феномин сахар», их летчики принимают, чтобы не спать ночью в полете. Когда очень

спать захочешь — прими одну.

Ну и вот, действительно — продержался я на этом фенамине трое суток без сна, трое суток почти непрерывного штудирования годичного курса сопромата. Я помню только, что на первые сутки мне хватило двух таблеток и что осталось из десяти в пачке — две штуки. Как мой организм это выдержал — не знаю. Забегая вперед, скажу, что впоследствии, за тридцать восемь лет моей работы в авиации, я с феномином ни разу не сталкивался и о нем не слышал. Только в газете однажды случайно прочитал, что это очень вредный препарат, что им нельзя злоупотреблять и что выпуск его прекращен. Но спасибо этому вредному феномину, он мне очень помог.

Утром я явился на экзамен, первым вызвался взять билет, первым вышел отвечать, получил твердую четверку и, еле живой, поплелся к тете Фане спать. Сколько я проспал, не помню. Много. Помню только одно: когда я проснулся — от всего сопромата у меня осталось в памяти только его название, что-то связанное с эпорами, балками, изгибами и со старым избитым выражением: «Сдашь сопромат — можешь жениться».

В военкомате предложили Военно-Морское авиационное училище связи в Новоград-Волынский, выпускающее начальников связи эскадрильи. Я страшно обрадовался: как же — и Военно-Морское, и авиационное, и радиосвязь! Я совсем не понимал, что это за специальность, кем я буду. Но название училища меня заворожило. Я сдал все необходимые документы и стал ждать вызова. А вызова не было. Когда я сам пришел в военкомат, то военком сказал, что там прием уже закончен, и предложил Военно-Морское авиационное училище им. Сталина в городе Ейске. Училище летчиков-истребителей.

— Пойдешь?

— Пойду.

— Сдавай документы и через неделю жди вызова.

И через десять дней я и еще один парень, Володя Кнава, выехали в Ейск для поступления в военное летное училище.

Вот так порой, через целый ряд случайностей, решается судьба человека, его будущее.

...Ейск, небольшой приморский городок, известный в то время, пожалуй, только своим авиационным училищем, еще полуразрушенным войной: ведь шел только сорок седьмой год, следы войны и разрушений были видны еще на каждом шагу.

Нас, кандидатов, поселили в каком-то старом кирпичном двухэтажном доме, бывшем до войны баней, и первое испытание, которому мы были подвергнуты и которое подавляющее большинство из нас не прошли, была медицинская комиссия. Каждое утро отправлялись на комиссию двадцать пять-тридцать человек, из которых, в лучшем случае, только пять-шесть признавались годными, а остальные, не солоно хлебавши, получали проездные документы и уезжали домой. Большинство из них «ломались» на кресле Барани. Это устройство для проверки вестибулярного аппарата. Представляет собой металлическое кресло с подлокотниками, которое врач может быстро вращать вокруг его оси. Испытуемый садится, берется руками за подлокотники, опускает голову и закрывает глаза. Кресло начинает быстро вращаться. Потом быстрая остановка одновременно с командой: «Откройте глаза, поднимите голову!» А голова почему-то вместо того, чтобы подняться вертикально вверх, клонится куда-то к правому или левому плечу, и глаза мутные, и поташнивает. А уж об «встать» и об «идти прямо» и речи нет. Нет, с таким вестибулярным аппаратом в летчики нельзя! Тем более в летчики-истребители, которые должны уметь крутить в воздухе самолетом как игрушкой.

Кстати — с этим креслом, без всяких его изменений, мне пришлось встречаться в течение почти четырех десятилетий минимум два раза в год: при годовой и полугодовой комиссиях.

После такого невероятного восьмидесяти процентного отсева — теоретические экзамены были простой формальностью. Потом была мандатная комиссия: сидят за длинным, накрытым красным сукном столом, пять или шесть человек — кадро-

вики, «особняки» (наверняка), а в центре – седой полковник с пятью-шестью рядами колодок и золотой звездой Героя Советского Союза на груди – председатель комиссии и заместитель начальника училища. Кстати говоря, с протезом одной ноги от бедра, получивший Золотую Звезду Героя через полгода после госпиталя! Это я о Борисе Полевом и его Маресьеве вспомнил: в войну не один был такой, как Маресьев.

И вот они смотрят мои анкеты, документы, задают какие-то вопросы. Один из основных вопросов: нет ли родственников за границей? И еще: не был ли я и моя семья во время войны на территории, оккупированной немецкими фашистами? Современным молодым (и даже не очень молодым) людям непонятен злобный смысл этих вопросов.

В общем, ответил я на все вопросы, и полковник поздравил меня с поступлением в Училище морских летчиков!

До сего дня я не понимаю, как они пропустили, не заметили один пункт в моих анкетах. Возраст! Дело в том, что даже во время войны, во всяком случае, в последний ее период, в армию не брали молодых людей до восемнадцати лет, а уж через два года после окончания войны, в мирное время, присяга принималась только начиная с восемнадцати лет безо всяких исключений. Это закон! А мне тогда было еще только шестнадцать! И когда я через три месяца, а если точно – второго ноября, принимал Присягу, мне до семнадцати лет оставалась еще неделя, то есть я присягал (ой, словечко-то какое странное: присяга, присягал...) ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИМ!

Так или иначе – я был принят и стал вначале самым молодым курсантом в училище, а после его окончания, как сказал кадровик, – самым молодым летчиком во всей Морской Авиации.

И тут я не могу не вспомнить один эпизод, который произошел через много, много лет: мы, «однокашники», собрались на свой тридцатилетний юбилей в училище и в ресторане. В самый разгар веселья, моя жена Нина встает, просит тишины и говорит: «Ребята, я знаю: вы все всю жизнь очень,



1947 год, г. Ейск

очень любили свою работу, вы фанатики своего летного дела. Но вот прошло уже тридцать лет, и мне интересно знать: сколько человек из вас еще продолжают летать. Встаньте, ребята, кто еще летает! Встал один я...

Однако, вернемся в сорок седьмой год. Переодели нас, счастливых, в синие матросские рубы, бескозырки без ленточек, и начался для нас курс молодого матроса: строевая, уставы, строительные работы, и так с раннего утра и до позднего вечера. Гоняли нас, как «сидоровых коз». Но все равно хорошее то

было время: мы – курсанты, впереди интересная учеба, полеты! «Царь и бог» для нас – старшина курса мичман Кучеренко. Некоторые его «перлы», его высказывания сохранились в памяти на всю жизнь: «...а если кто нарушит – из носа по капле кровь выпущу, в лаврровый лист иссушу!!» Или так (это он проводит политинформацию), дословно, эта фраза вошла в мой «золотой фонд» на всю жизнь: «Двадцать второго июля одна тысяча девятьсот сорок первого года немецко-фашистские фашисты, под прикровом темной ночи, ползком и внезапно напали на нашу Родину!».

Но в общем – хороший был мужик, справедливый. Он потом был у нас старшиной эскадрильи на всем первом курсе. Рассказал нам, как он попал во время войны в штрафбат: был он работником секретной части в каком-то большом штабе. И вот однажды вечером, когда штаб уже опустел, он завел к себе в секретную комнату свою знакомую секретаршу. Все было очень хорошо, но в самый интересный момент в дверь громко постучали. Бравый мичман не растерялся, затолкал де-

вицу в открытый большой сейф, захлопнул его и пошел открывать. Входит генерал, командир части: ему срочно потребовался какой-то документ и именно из этого сейфа! И ничего не придумаешь: ключ в замке торчит. Пришлось ему, бедолаге, дрожащей рукой открывать сейф, и к ногам изумленного генерала из него вываливается полу задохнувшаяся и в полу разобранном состоянии девица. Ну, в результате – штрафной батальон, через пару месяцев тяжелое ранение, госпиталь и возвращение в часть. Вот такая веселенькая история.

После присяги получили полное матросское обмундирование: черные брюки и синие суконки с гюйсами (это такие большие матросские воротники синие с белыми полосками), шинели, бушлаты, телняшки, черные хромовые ботинки в дополнение к тяжелым рабочим ботинкам. Они, правда, так назывались только в вещевых наших аттестатах, а «настоящее» их название было – ГД или – гавы: это сокращенное от – г...давы. Извините за выражение, но из песни слова не выкинешь. И ленточки для бескозырки! И золотыми буквами надписи на них: Военно-Морское Авиационное училище. Знай наших!

Начали привыкать к строгому распорядку дня: в шесть – подъем, пробежка и зарядка на улице, независимо от погоды, завтрак, и – на занятия в учебный корпус, до обеда.

Основные предметы, понятно, это история партии и политэкономика и, кроме того, всякая дребедень второстепенная, вроде теории полета, теории двигателя, матчасти (материальная часть) самолета УТ-2, на котором должны были летать летом, штурманская подготовка и еще чего-то такое же – второстепенное. Был еще один интересный предмет – военная администрация. Я совершенно не помню, о чем там шла речь. Запомнил из всего курса только один момент: подготовить одного летчика за три года стоит столько же, сколько стоит подготовить пять врачей, каждый из которых учится шесть лет.

После обеда – отдых часа полтора или два и опять в класс на самоподготовку – до ужина; потом – свободное время, ве-

черная прогулка строем, с песнями. И отбой.

Вечерами очень часто, несколько раз в неделю, приходили наши инструкторы. Вокруг каждого собиралась его летная группа из пяти, как правило, курсантов, для каждого из которых он был и непосредственным командиром, и «отцом родным», и летчиком-инструктором, который скоро, через несколько месяцев, будет учить нас поднимать самолет в воздух и управлять им. Приходили прямо к нам в кубрик, мы рассаживались вокруг, как цыплята вокруг мамы-наседки, и начинались разговоры обо всем: об учебе, с непринужденной проверкой наших успехов, о жизни, о наших родителях, о будущих полетах. И конечно мы смотрели на своих инструкторов, как на богов. А мой инструктор – лейтенант Шебашов Иван Васильевич! О нем особый разговор, я еще вернусь к нему не раз.

Я вот написал слово – кубрик – и задумался: а может другому назвать? А как? Может быть – казарма? Да ни в коем случае! Матросы живут только в кубриках. И неважно: на берегу это или на судне. Хотя, если строго говорить, то кубрик, это жилое помещение для команды на корабле. Я много лет прослужил на флоте и многие слова, названия, фразы вошли, как говорится, в плоть и кровь, навсегда. Вот еще пример, гораздо более часто встречающийся: компас. Моряки говорят с ударением на последнем слове. А летчики «не морские», конечно – на первом. Но ведь моряки-то раньше появились и использовали эту очень полезную китайскую штуку. А потом, после или Можайского или там братьев Райт (кто их разберет!) появились эти сухопутные летуны, и мы, моряки, уже, видите ли – неправильно говорим! Компаса́ или ко́мпасы? Конечно – компаса́! Впрочем, у меня есть доказательство нашей морской правоты: у нас в авиации (морской, естественно) была такая вот частушка:

Самолет летит по кругу,

Отказали компаса́...

Механик бегает по старту,

Рвет на ж... волоса.

Вот теперь мысленно пропойте эту частушку «по сухопутному» и что получилось? Ерунда! То-то! А вы говорите – компасы!

Кончилась зимняя учеба, сданы экзамены, и училище опустело: все шесть полков разъехались, разлетелись по аэродромам до самой осени.

Я рассказываю об училище, а тут вдруг – полк, полки, да еще сколько их? Целых шесть. Что же это за училище такое? А оно было действительно огромное: здесь готовили летчиков-истребителей для всей Морской Авиации Советского Союза. И действительно было шесть авиационных полков. Только каждый летчик – это летчик-инструктор, у каждого из них – группа из пяти-шести курсантов и, конечно, свой самолет. В двух учебных полках (первый курс) – это самолет УТ-2 – наша, так сказать, летающая парта; в остальных четырех «боевых» полках – боевые машины ЯК-9, знаменитые ЛА-5, и один полк (из четырех) готовил «лодочников» – на американские тяжелые летающие лодки «Каталина».

Было еще одно летное училище в Морской Авиации – Военно-Морское Минно-Торпедное Авиационное Училище в Николаеве. Одно название чего стоит! Там готовили основную ударную силу флотской авиации – торпедоносцев!

Много можно рассказывать о торпедоносцах, может быть, я еще к этому вернусь более подробно. Трудно представить себе, что такое торпедный удар. Тяжелая машина с экипажем из трех человек выходит в атаку на корабль или группу кораблей, на которых много десятков, а то и сотен, всевозможных зенитных установок, на высоте 30 метров (тридцать!) и почти в упор бросает торпеду с почти стопроцентной вероятностью попадания. Сколько погибало торпедоносцев – сравнивать не с кем, если говорить о других родах авиации.

Но Вторая Мировая война длилась семь лет; минно-торпедная авиация активно действовала только последние три года и, тем не менее, за эти три года торпедоносцы уничтожили шестьдесят процентов(!) всех кораблей, потопленных за

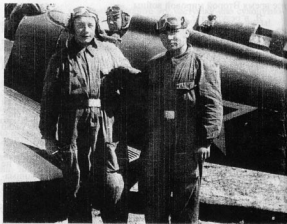
все время Второй мировой войны.

Я, в результате, заканчивал именно это училище. Однако, это все было потом, а пока вернемся к тем счастливым дням, когда мы, закончив учебу и сдав экзамены, выехали на все лето на аэродром.

Наш аэродром находился рядом с большой кубанской станцией Ново-Щербиновка. Это было большое ровное поле, покрытое травой, на краю аэродрома – наш палаточный лагерь, где жили и мы, курсанты, и наши сержанты-механики самолетов, и инструкторы. Офицеры, особенно женатые, снимали комнаты в станице. Кроме того, у каждой группы было свое место для предварительной подготовки и послеполетных разборов со скамейками и навесом от солнца.

Первые недели две, пока не высохло летное поле и не стало готово к полетам (так и было рассчитано), мы занимались предполетной подготовкой, с утра и до вечера были на стоянке около своего(!) самолета. Изучали его уже на практике, живого, до винтика: положение рулей и элеронов в зависимости от положения ручки и педалей в кабине, показания всех пилотажных приборов при любом положении рулей управления и самолета, отрабатывали плавность движения ручки управления и педалей. Все это доводилось до автоматизма в кабине самолета. И еще – изучение района полетов со строжайшим экзаменом по нему. Мы знали название и расположение каждой деревушки, каждого хутора, каждой речки и ручейка, каждый изгиб любой дороги, а на экзамене мы просто на чистом листе бумаги рисовали подробную карту района полетов в радиусе трехсот километров. Поверьте, – это было очень непросто.

И вот – первый полет. Мне повезло: я первый из группы поднимаюсь в воздух. Сажу в кабину, впереди прозрачный козырек, как у мотоциклиста, голова торчит над кабиной, «переговорное устройство» подключено. Тут маленькое пояснение: почему в кавычках и что это за устройство такое. Дело



*Я в кабине Утенка. Слева — Коля Суханов,
справа — Володя Томашиков*

в том, что на самолете УТ-2, о котором кроме нас, стариков, никто уже и не помнит, не было никакого электро- и радиооборудования и, следовательно, не могло быть никакого настоящего переговорного устройства. Но инструктора то я должен слышать! Ну и придумали: небольшая твердая металлическая пластина с отверстием посередине, к которому перпендикулярно приварена металлическая же трубка. Эта пластина застегнутым шлемом прижимается к правому уху, а на трубочку, торчащую через дырочку в шлеме, в свою очередь надевается другая, длинная резиновая трубка, идущая в переднюю кабину инструктора. Трубка заканчивается небольшим таким раструбом, конусом, который инструктор держит в руке или вешает при помощи проволо-

ного крючка к пуговице комбинезона и говорит в него. Вот такая передовая техника!

В передней кабине — инструктор, лейтенант Шебашов Иван Васильевич. Это человек, которому я бесконечно благодарен. Только благодаря ему я дошел до конца программы и окончил первый курс. Только наша единственная летная группа в полку закончила летную практику без потерь, т.е. ни один не был отчислен «по летной неупеваемости». А если учесть, что групп было восемнадцать, а из ста шестнадцати — вылетели самостоятельно и окончили курс только девяносто два человека, то можно мне поверить, что наш инструктор был самый лучший. Он и был общим любимцем всех «курсачей» полка.

Итак, я — в кабине, в задней. Впереди вижу голову инструктора.

— Запуск!

— Есть запуск! — кто-то из наших ребят начинает проворачивать винт, пока не почувствует усилившееся сопротивление (нащупал «КОМПРЕССИЮ»), крепко берется левой рукой за конец лопасти:

— Контакт! — резким рывком проворачивает лопасть и отскакивает в сторону

— От винта! — одновременно с этими словами инструктор в передней кабине быстро крутит ручку магнето: мотор чихнув, заработал, винт закрутился. Все, поехали на старт! Перед самым взлетом слышу: — «Значит так, албанец, мне не мешай, мягко держись за управление, внимательно слушай. Поехали!». Вот откуда для меня пошло это знаменитое «Поехали!», а до Гагарина еще было 0-го-го сколько лет! Кстати, через десять лет он начал учебу в нашем же училище.

Наш УТенок начинает двигаться и я слышу: — «Даю газ... держу ногами направление... скорость растет... скорость пятьдесят — поднимаю хвост... направление... направление... скорость восемьдесят — ручку на себя — отрыв... высота — метр... ручка от себя... в горизонт... держим один метр...

смотри, албанец, вот он – один метр!.. скорость растет: сто... сто десять метров...сто двадцать...сто тридцать – ручку на себя...переходим в набор...прибираем газ, держим в наборе сто двадцать... понял, албанец, как мы с тобой взлетали?» Ну, и так далее: «Набираем высоту четыреста метров, переходим в горизонтальный полет».

Прошло минуты три с момента взлета и вдруг я слышу: – «Ну а теперь, Марк, бери управление, высота – четыреста, без кренов, спокойно, внимательно...». Вот так, с первого же полета началась наша летная учеба. Вначале учились держать машину в горизонтальном полете по прямой, без кренов, разворотов, потери или набора высоты.

Учились делать правильно развороты: вначале с креном пятнадцать градусов (блинчиком), а потом и нормальные – с креном тридцать.

И так постепенно, постепенно подходили к самым сложным элементам – расчету на посадку и к самой посадке.

И вот когда мы уже почти, можно сказать, освоили весь полет по кругу от взлета до посадки, пока с инструктором в передней кабине, подошли к самому страшному – девятому упражнению. И именно на нем «сломались», не смогли его успешно осилить подавляющее большинство из тех сорока четырех наших товарищей, которые были отчислены из училища по статье – «летная неупеваемость». И называлось оно – «Исправление ошибок». И заключалось оно в том, что инструктор вводил любые ошибки, давал любые вводные, «огуливали» как хотел, а курсант должен был исправлять, исправлять их немедленно, мгновенно, автоматически, в доли секунды.

Ну, например: после взлета, (на высоте два-три метра!) он мало того, что резко убирает газ (отказ мотора!), но еще и резко крен создает левый или правый, и – реагируй, мгновенно, автоматически! Сами понимаете!.. Или, предположим, перед самой посадкой, на высоте нескольких метров он вдруг резко берет ручку «на себя», самолет резко задирает нос, теряет

скорость, вот-вот рухнет на хвост, не долетев до посадочного «Т», и – снова реагируй!

И это для многих из нас оказалось непреодолимым препятствием.

В один прекрасный день, заканчивая послеполетный разбор, инструктор говорит мне: – «Ну, албанец, завтра идешь на контроль, и если все будет нормально – полетишь сам». Я оказался вторым из нашей пятерки.

Утром, мы только что вышли на аэродром, ко мне подходит комэск капитан Жирков:

– Ну как, Эдельштейн, себя чувствуешь, спал хорошо, готов?

– Готов, товарищ капитан.

– Ну, пошли на самолет.

Сделали мы с ним два или три круга, зарулили, дал он мне несколько мелких замечаний, и в это время подходит командир полка, подполковник Рыбкин: – «Как он? Добавишь ему время, или даешь на проверку? Готов? Ну, – посмотрим!»

Делаем один полет – молчит, руки демонстративно на бортах лежат, ногами по полу кабины постукивает. Второй полет – молчит, только бурчит после каждой посадки: «Давай еще взлетай!». В четвертом полете поиздевался он надо мной «от души»: каких он только вводных мне не давал! Но я ожидал любых подвохов, был готов.

Вылез он из самолета и, так и не сказав мне ни слова, ушел в квадрат (это место на старте, где весь наш летный люд толчется в ожидании своей очереди летать, между полетами и т.д.). Инструктор побежал к нему, стоят – разговаривают, долго говорят (а может – мне так казалось). Я сижу в кабине, жду. Ребята стоят рядом, а около них лежит тяжелый мешок с песком, который в первом самостоятельном полете кладется вместо пассажира в переднюю кабину для центровки.

Ждем, все смотрим в одну сторону, туда, где решается моя судьба.

И вот, видим, ИВ (Иван Васильевич) поворачивается в

нашу сторону, машет рукой и бежит к самолету. Ребята хватают мешок, укладывают его в переднюю кабину на пилотское кресло и пристегивают привязными ремнями. В это время подбегает наш ИВ, запрыгивает на плоскость, на крыло то есть, нагибается ко мне: — «Ну, давай, албанец, работай спокойно, как всегда». Похлопал меня рукой по шлему, спрыгнул на землю.

И я порулил на старт.

Выруливаю, поднимаю левую руку вверх, что значит — «Прошу взлет!» Стартер дает белым флагом отмашку...

...И вот тут я крепко задумался: что же писать о своем первом самостоятельном полете? Писать о неземном восторге, о поющей и звенящей душе, о моих родных, даже не подзревающих, что вот их сын (брат, сват) сейчас один, здесь, в бескрайнем небе! Так, или почти так, описывают обычно авторы чувства и переживания своего героя во время первого самостоятельного полета. Они, авторы, так себе это представляют, так им кажется обязательно должно быть!

А на самом деле — ничего подобного нет и просто быть не может.

Или вот еще: очень любят некоторые авторы описывать мысли, приходящие в головы летчиков, парашютистов при каких-то критических, сверхкритических ситуациях: вспоминается любимая жена, светящиеся любовью глазки маленькой дочурки... Конечно, это все очень красиво звучит, очень трогательно. Но все это, к счастью, не соответствует действительности, не имеет ничего общего с жизнью.

Почему — к счастью? Да вот почему. Один только пример: у меня потом была и любимая молодая жена, и сын Ромочка, но если бы в моей голове были они, любимые, когда я падал после катапультирования с истребителя МИГ 15 вместе с креслом, привязные ремни которого почему-то не желали расстегиваться, а парашют был подо мной — я на нем сидел, а потом падал, а за мной валилось мое кресло, стропы от парашюта которого закрутились вокруг моих обеих ног... Так вот, ес-

ли бы я хоть на одну-две секунды от мысли — что делать? — отвлекся к самым трогательным мыслям о своих любимых, то я бы сейчас не рассказывал об этом. А подобных ситуаций, правда, связанных уже не с парашютом, а с самолетом, за четыре десятилетия моей работы в авиации было вполне достаточно для того, чтобы иметь твердое суждение на этот счет.

Но я опять отвлекся.

Было, конечно, не до восторгов. А что было? А было, с момента выруливания на старт, удивительное спокойствие, полная собранность в мыслях.

И вот — полный газ. УТенок мой набирает скорость и с такой же скоростью мысли: «...так... ногами направление держать... держать скорость...поднимаю хвост, но не перерывать ручку, а то винтом землю зацеплю... направление... скорость... ручку на себя, отрыв... ручку от себя...метр... метр... без кренов... скорость... ручку на себя — пошел в набор!» И тут два замечания. Во-первых, все эти «ручка от себя» и «на себя» — это все в пределах не более двух-трех сантиметров, т.е. движения ручкой — миллиметровые. Во-вторых — весь взлет на УТ-2 продолжался, ну, самое большее — 30 секунд!

Конечно, когда после набора высоты круга 400 метров, после первого и второго разворотов наступали примерно четыре минуты передышки, т.е. спокойного горизонтального полета, — вот тут были, конечно, две-три минуты ликования: я один, впереди впервые не маячит голова инструктора. Только я управляю самолетом, и только мне он подчиняется!

Представить это может лишь тот, кто сам это пережил, перечувствовал. Ни один летчик никогда не забывает всех подробностей своего первого самостоятельного полета! А ведь мне было тогда всего семнадцать лет!

Змейка — влево вправо, еще змейка, пара горок — вверх вниз, вверх — вниз, и машина послушна каждому моему движению! И никто не делает мне замечаний!

Сплошные восклицательные знаки, вы уж извините меня,

но тут такие воспоминания нахлынули, что трудно удержаться.

Подшел к третьему развороту, все глупости в сторону, время расчета на посадку, это значит надо точно определить момент уборки газа, чтобы самолет, который с этого момента будет лететь, как планер, приземлился точно около «Т» без подтягивания на моторе или скольжения «на крыло» для резкой потери высоты.

И вот тут я, как говорится, маху дал и уже у самой земли понял, что сяду с громадным перелетом, где-то посреди аэродрома; осталось только дать полный газ и уйти на второй круг. При втором заходе — то ли я перестарался, то ли неожиданный порыв бокового ветра, — но я перед самой посадкой оказался под большим углом к оси посадки, и подвернуть уже не было возможности. Опять «по газам» и ушел на второй круг. (В авиации понятие «на второй круг» это не арифметическое понятие: второй, третий, пятый — это просто говорит о том, что самолет в силу каких-то обстоятельств не совершил посадки и ушел для повторного захода).

Это уже обратило на меня всеобщее внимание: полеты заканчивались, в воздухе был только я один, да первый полет, да еще вот два раза ушел! Как мне потом рассказали, зам. командира эскадрильи капитан Андрианов, мужик двухметрового роста, с горящими глазами и румпелем в два раза больше хазановского, заявил во всеуслышание, глядя на мой второй заход: — «Ну, наш Марик опять мимо аэродрома просквозил!»

И эта фраза потом преследовала меня до конца полетов. Так, наш ИВ мог сказать, провожая меня в двухчасовой маршрутный полет: — Смотри, Марик, не просквози мимо аэродрома! — под общий смех всей нашей группы. Тут еще дело в том, что он почти никогда не называл нас по имени, больше все албанцами звал. В то время «в пику» Броз Тито, руководителю Югославии, которого рисовали с окровавленным топором в руках, восхваляли всеми силами Албанию и ее вождя Энвера Ходжу — верного друга Советского Союза; вот и по-

шло у него: албанцы да албанцы.

Ну, после посадки — поздравления, по традиции три раза подбросили, и счастливей меня в этот вечер человека на свете не было!

Что я все о полетах, да о полетах. Была веселая лагерная жизнь, хотя и регламентированная строгим военным распорядком дня. В субботу и в воскресенье мы ходили в увольнение в станицу.

Ново-Щербиновка — это громадная кубанская станица с населением, как говорили, около двадцати тысяч человек. А наш маршрут какой: в какой-нибудь буфет или чипок заглянуть, а потом в клуб в кино или на танцы.

Там, в станице, я и водку выпил первый раз в жизни, да как, да сколько!

Пошли мы в увольнение вдвоем с Петькой Филповым, он был старший в нашей летной группе и успел до училища уже на флоте послужить. Зашли в какую-то забегаловку и Петька, подсчитав наши ресурсы, заказывает бутылку водки, две круж-ки пива и на оставшиеся деньги закусу — порцию соевых помидоров. У меня челюсть отвисла, я пытался ему втолковать, что я первый раз, что это много, что мне плохо может быть, но все мои слова разбивались о его уверенность: «Не б...о, Марк, мы ж моряки значит должны уметь, а я поддержу в случае чего». Ну, выпили, закусили (извините) и пошли бродить по станице.

Я был совсем молоденьким, организм крепкий, еще не отравленный, а вот Петькин подвел. С этим свойством его организма мне еще пришлось столкнуться вскоре, но об этом еще речь впереди.

Бывали драки со станичными ребятами, конечно, из-за девчонок. Им интересно было потанцевать с матросами-летчиками: все ребята один к одному, клещи, бескозырки, а свои и так надоели. А для тех, понятно, мы были как кость в горле, отсюда все и начиналось.

Помню одну очень серьезную драку, которую разгоняли

невесть откуда взявшиеся солдаты с автоматами, примчавшиеся на машине. Во время танцев, а наших было очень много, вдруг слышим снаружи крики: «Полундра!!» — а это сигнал для любого матроса к немедленным действиям, то есть — сорвать с брюк ремень, обмотать один конец вокруг правой руки так, чтобы бляха с якорем свисала как боевое оружие и с тем же яростным криком: — Полундра!!! — рвануться в самую гущу событий. В общем — свара была солидная, станичник было гораздо больше, но они-то — с голыми кулаками, а мы — хорошо вооруженные ремнем с тяжелой матросской бляхой — это страшное оружие. А потом вдруг — автоматная очередь в воздух, солдаты, разбор, две недели всеобщего не увольнения.

Как-то обошлось: на нас, мол, набросились, а мы вынуждены были защищаться. Но чаще бывали в клубе другие случаи, я бы сказал — более трагические, чем мы в то время не понимали.

Подходит к танцующей паре местный парень и говорит, обращаясь к нашему курсанту: — Ты с кем танцуешь, это же овчарка! И девушка, помертвев, опустив голову, бежит к выходу, иногда еще сопровождаемая громогласным ворчаньем партнера: — Ах, ты б...!.

Молодежь этого не знает, да и к лучшему это, что немцами овчарками после войны называли женщин, живших с немцами во время оккупации. А мы тогда в силу возраста своего юного, воспитания, яростной пропаганды, не могли еще задаться вопросом: чем же они виноваты, эти девочки, которым четыре-пять лет назад, когда в станице была немецкая армия, было пятнадцать-шестнадцать лет!

Коли уж мы заговорили об этом, мне вспоминается сейчас, как нас старались оградить от общения с «гражданскими». Замполиты всех мастей и рангов внушали нам, что ВСЕ местное население на Кубани — предатели, и все они радостно встречали немцев. Что когда немцы в Ейске «объявили набор» в солдатский публичный дом, то выстроилась очередь на не-

сколько улиц, что на нашем Центральном аэродроме в Ейске (там летали наши выпускники на боевых ЯКах) накануне полетов ночью поперек взлета кем-то выкапывались траншеи. Все это, конечно, ахинея, но на нас тогда действовало вполне исправно.

Однако пора вернуться обратно к главному, к полетам. Начались полеты в зону. Что такое зона? Ну, прежде всего — это место, место для чего-то. А вот — для чего, это все понимают по-разному. Для ЗКов — это место, где они мотают срок после суда, а для летчика — это место для отработки техники пилотирования, выполнения фигур высшего пилотажа, тренировки в выводе из штопора (а для этого надо уметь вести машину в него, в штопор), воздушного боя. До воздушного боя нам, первокурсникам, было еще далеко, а всему остальному мы учились, сначала с инструктором, а потом и тренировались самостоятельно, с пассажиром в передней кабине. Причем пассажир — это совсем не обязательно кто-то из своих курсантов, которым в этом случае просто строжайше было запрещено вмешиваться в управление. Нет, могли посадить, скажем, механика самолета, шофера, писаря из штаба. Мне однажды даже доверили покрутить в зоне какого-то молодого комсомольского работника, капитана, из штаба ВВС Флота. Когда мы оба сидели уже в кабинах, на плоскость заскочил старшина эскадрильи (я о нем рассказывал) мичман Кучеренко и прошептал в ухо: — «Смотри, если не заставишь комсомольца вытравить — из носа по каше...». Выполнил, заставил, но на меня он, капитан, смотрел с восторгом. Мне это было, конечно, очень лестно: как же — он офицер, капитан, а я матрос, папан семнадцатилетний! Но это было потом, а пока опять полеты с инструктором.

Влетаю и иду с набором до 1500 метров в нужную зону (их у нас было шесть вокруг аэродрома). ИВ сидит, в управление не вмешивается, молчит или слегка материт меня (но — беззлобно) за какие-то мелкие ошибки в пилотировании. Пришли в зону и опять начинается: — «Начнем со штопора, влево три витка. Не забыл, албанец, как выходить?» — я в ответ слег-

ка покачал крыльями. — «Начинаем, разворачивайся носом на аэродром, убирай газ,... держи по горизонту,... скорость падает,... горизонт,... горизонт, сто,... девяносто... давай!!!» Я одновременно беру ручку полностью «на себя», левую ногу полностью вперед и сразу ставлю ноги нейтрально. Что тут началось!! Машина резко завалилась на левое крыло и закувыркалась, почти вертикально опустив нос, по винтообразной траектории, быстро вращаясь еще и вокруг собственной оси! Где земля, где небо, где лево и где право, какой там виток: первый или уже третий, пятый? Если б не привязные ремни — вылетел бы из кабины в первое же мгновение! Ощущения — ни в сказке сказать, ни пером описать. Но переживать некогда: слышу крик в правом ухе: — «Выводи!!!». Ноги резко против штопора и нейтрально и ручка полностью «от себя». Вращение прекращается, вывожу самолет из почти отвесного пикирования, даю полный газ и набираю прежнюю высоту. «Ну вот, албанец, молодец, теперь повтори сам без всяких моих подсказок, три витка влево».

И вот так, постепенно: штопор, глубокие виражи, петля, иммельман, переворот через крыло, бочка, боевой разворот, каскад из нескольких фигур; пока инструктор не получил полную уверенность, что смогу выполнить все сам, что если где то совершу ошибку и завалюсь в штопор, то не растеряюсь и выйду из него.

В одном полете в зону я отличился, уже без кавычек, в самом деле. Во время выполнения боевого разворота (боевой разворот — это разворот на 180 градусов с одновременным максимальным набором высоты в минимальное время) вдруг «зачихал» мотор, пару раз чихнул, потом самолет вздрогнул, и сразу наступила полная тишина: мотор заклинило, винт — неподвижно стоит, что ужасно непривычно видеть в воздухе. Все, самолет в это мгновение превратился в планер и может лететь только вниз, правда, под небольшим углом. Был ли страх, волнение? Нет, не было ни того, ни другого, именно об

этом я писал выше. Сразу перешел на снижение чтобы не потерять скорость и не свалиться в штопор: это — автоматически, еще ни о чем не думая, а потом уже начал соображать: высота полторы тысячи, вроде бы достаточная чтобы дотянуть до аэродрома, но лучше иметь запас: потерять высоту всегда можно скольжением, а вот подтянуть, увы, — нечем; поэтому снижаться следует с маленьким углом, т.е. держать минимальную безопасную скорость. Беспокоила одна мысль: а если финишер будет угонять на второй круг из-за того, что на посадочной кто-то или что-то мешает, то надо будет садиться где-то рядом, положение то безвыходное, в общем — надо быть и к этому готовым.

Сел нормально, только заметил на пробеге удивленное лицо финишера, первый раз увидевшего самолет, садящийся с неработающим мотором и неподвижным винтом. Мы с пассажиром вылезли из самолета и, вместе с подбежавшими ребятами, быстро покатали самолет с посадочной чтобы не мешать садиться другим машинам. За эту историю я получил благодарность перед строем полка.

Была одна история, связанная с зоной, оставшаяся навсегда непонятной. Обычное задание: полет в зону, выполнить то-то и то-то. Ничего необычного, все уже не раз выполнялось. Пассажиром ИВ посадил нашего механика самолета. Взлетел, набрал высоту, вышел в зону и во время выполнения первой же фигуры — свалился в штопор. Это был левый переворот через крыло. Представьте себе: самолет переворачивается вокруг своей оси через левое крыло вверх колесами, опускает нос к земле и переходит в отвесное пикирование. Вот эта комбинация и называется переворотом через крыло. В начале выполнения этой фигуры машина очень резко, без всякого предупреждения, на скорости, входит в штопор. Вывел, набрал потерянную высоту. Надо, думаю, разобраться, какую ошибку я допустил: может ручку передрал во время ввода, может — слишком резко вводил, давай-ка еще разок попробу-

ем. Попробовал – опять свалился, третий, четвертый раз... Я «озверел» и все отведенное мне время (одна зона – это тридцать минут) безуспешно пытался выполнить переворот, но тщетно: штопор, штопор, штопор... Пассажир мой поворачивает ко мне свою восторженную морду, поднимает вверх большой палец: никто его еще так не крутил в зоне, он же не мог понять, что происходит. Сели, подходит ИВ, пойдём, говорит, покурим. Легли в сторонке на травку, закурили. «Ты что, – говорит – албанец, за цирк там устроил?». Я в растерянности. «Все делал, – говорю – как обычно, сам ничего не понимаю». «Це дило требо разжувати! Пошли вместе!» Приходим в зону.

– Давай левый переворот!

Делаю – все нормально.

– Правый переворот!

Нормально.

Левый... левый,... правый,... левый,... левый!

Нормально, нормально, ни одного срыва! Чертовщина какая-то! Прилетели, доложил инструктор обо всем комзске. Он тоже со мной слетал: все нормально. В общем, осталось это для меня загадкой на всю жизнь.

И еще одна история. Однажды, уже в конце программы, незадолго до экзамена, инструктор говорит мне: – «Бери две зоны и отработай там, что считаешь нужным сам, готовься к экзамену». Это надо объяснить. Ведь у нас все строго регламентировано: зона – это ровно тридцать минут, и у меня в задании строго расписано, что я должен делать и в какой последовательности. И вдруг мне, мальчишке, дают самолет и говорят: – иди в зону и целый час (целый час!!!) делай там, что хочешь. Хочешь – бочки крути, хочешь – штопор и хочешь – виражи, хочешь... В общем – что хочешь, то и делай! Это было воспринято мной, как какое-то невероятное доверие, как счастье! А пассажиром посадил ко мне Петьку Филипова. Пришел в зону, начал работать. И вдруг, после выполнения какой-то фигуры, Петя мой, вижу, закрутился в кабине, замахал что-то руками и выдал, да

еще в мою сторону, прямо на мой козырек все, что он скушал за последние сутки. А потом – эх раз, еще раз... И что мне оставалось делать? Только одно: убрать газ и, проклиная и Петьку, и его вестибулярный аппарат, и его аппетит, и вообще все на свете, идти на посадку. Такой сказочной возможностью не воспользоваться! Иван Васильевич вначале сделал очень удивленное лицо, увидев меня через двадцать пять минут после взлета, а потом, бросив взгляд на Петино зеленое лицо, на козырек моей кабины, его комбинезон, выдал что-то такое очень многосложное, закончившееся словами: – «Лапши много ешь м...к, чтобы через пятнадцать минут самолет блесст, как у котя яйца!». И, обращаясь ко мне: – «Не повезло тебе, албанец, пошли покурим».

А потом, это как последний этап нашей летной программы, начались маршрутные полеты. Уходили вначале на маленький маршрут, на сорок минут, а потом на большой – на два с половиной часа. И вот тут мы все понемногу похулиганили! Кто-то первый прошел по маршруту и рассказал, что через деревню «Круглое» (через нее проходит маршрут, и она стоит на самом берегу Киркинитского залива Черного моря) идет широкая улица перпендикулярно береговой черте и на ней нет никаких столбов и ни каких проводов. И началось! При подходе к деревне снижались до бреющего полета, метров до пяти, и неслись вдоль улицы на уровне крыши, распутивая колхозничков и кур. А потом или резко уходили вверх, или еще не упускали возможность повизажить на этой высоте вокруг рыбацких шаланд.

И как-то все это сходило с рук, хотя это были, конечно, грубейшие нарушения. И начальство, конечно, все это знало. Но реагировало на эти «взбрыкивания» очень слабо, в четверть силы: ну – выговор, ну – три наряда вне очереди, ну – на один или два дня от полетов отстранят. Правда, один наш курсач получил десять суток «губы», это Венька Дрогайцев (Венька, Веньямин, Беньямин, да и фамилия какая-то не кон-

довая русская; я не очень удивился, если встречу его вдруг (Иерусалиме). Так вот он, вернувшись с маршрута, взял, да и прямо над аэродромом на высоте триста метров крутанул «бочку». Ну, это уж была просто наглость, и командир полка подполковник Рыбкин, тут же влупил ему десять суток, но с отсидкой после окончания полетов, за счет отпуска. Но потом, кажется, простили.

Уже потом, через много лет, я задумался: почему нам сходили с рук такие грубейшие нарушения всех наших правил, инструкций, наставлений? Я могу объяснить это только одним: только три года, как кончилась война, много наших командиров и инструкторов были боевыми летчиками, и сами во время боев очень мало думали о выполнении инструкций. И готовили они из нас летчиков-истребителей. А истребитель – это всегда немножко воздушный хулиган, даже, в каком-то смысле – воздушный бандит. Может быть, именно поэтому на все эти наши хулиганские выходки и смотрели «сквозь пальцы». Но, повторю, это только мои догадки, не более того.

А потом был экзамен в воздухе. Проверяли нас летчики из боевых (училищных) полков. Нашу группу проверял зам. командира полка «Лавочкиных». Когда подошла моя очередь, он мне сказал: – Идем в зону, покажи все, что умеешь, на меня не обращай внимания, меня в кабине нет». Крутился я, как мог. Один раз он только не выдержал: – Разве это боевой разворот? Смотри, как истребители делают «боевой»! – Показал – Повтори! Вот теперь на что-то похоже, давай на посадку.

После этого осталось только нашить на рукава второй шеврон, получить деньги, пищевой аттестат, проездные документы и – в отпуск, в Москву! Второкурсником!!!

P.S. Не думал я возвращаться к этим воспоминаниям, но вот неожиданно получил ответ на загадку, которая мучила меня целых пятьдесят пять лет, как раз со времени тех событий, о которых я рассказывал.

В этой новой жизни, в Израиле, мне очень пригодилось

мое многолетнее московское «хобби» – переплетное дело, превратившееся, можно сказать, в профессию. Рядом с местом моей работы есть сапожная мастерская, где работает мой хороший знакомый – Сережа Казаков. Сказать о нем просто – сапожник Сережа Казаков – язык не поворачивается, это значит не сказать ничего. После учебы в Институте народного хозяйства он, вместо того чтобы просиживать штаны в кресле чиновника, даже на руководящем посту, работал закройщиком кожаных изделий, закройщиком обуви, ремонтировал обувь, стал великолепным мастером «на все руки». Мастерская его всегда полна обувью, чемоданами, кожаными куртками. Всегда весел и очень доброжелателен. На редкость разносторонен круг его интересов. Сережа интересуется восточной философией, зачитывается книгами Блаватской и мечтает когда-нибудь побывать в Тибете, длительное время изучает Каббалу в группе какого-то известного иерусалимского рава, подумывает о гвиоре. Вот такой интересный человек. Мы часто с ним встречаемся и говорим на самые различные темы.

И вот, однажды мы с ним вспомнили по какому-то поводу известную хасидскую притчу об одном старом еврее, который во время наводнения категорически отказывался уходить из дома, считая, что Бог не допустит его гибели. А вода все выше и выше. Сосед пытался его увести, потом лодка приходила за ним. Потом, когда вода уже к крыше подходила, вертолет прилетал за ним, а он все свое твердил: – «Бог не допустит...». Ну, и погиб, в конце концов, утонул. А, представ перед Всевышним – возопил: – «Я так в тебя верил, а ты не помог мне!!!». А в ответ услышал:

– А кто, как не я, посылал к тебе одного ангела в лице соседа, второго в лице лодочника, и еще одного в лице вертолечника? Но если ты сам отказывался от помощи, то что же я мог сделать?

И тут я вспомнил одну историю, произошедшую пятьдесят пять лет назад, как раз в тот период, о котором рассказы-

вал выше. Историю, которая только, можно сказать, чудом не окончилась для меня трагедией, которая бы сломала всю мою жизнь. И я рассказал ее Сереже.

Я опять возвращаюсь в лето 48-го года, на наш аэродром. В нашей летной группе, группе лейтенанта Шебашова Ивана Васильевича (ИВа, как мы его называли) было не пять, как обычно, а шесть курсантов, так получилось. И в том числе мой самый близкий друг – Женька Тихомиров. Вместе летали, одновременно проходили к самостоятельному вылету. А потом его перевели к другому инструктору, у которого в то время оказалось по какой-то причине только четверо курсантов. Там он почему-то начал отставать, что-то у него не получалось, до самостоятельного вылета не дошел и был отчислен «по летной неупеваемости». ИВ наш очень переживал за Женьку, говорил, что он бы Женьку довел до конца, что у него все хорошо получалось. Ну и мне, конечно, было очень горько – уходил самый близкий друг.

И вот закончены полеты, мы вернулись в Ейск, в Училище, нашли по второму шеврону на рукав, получили проездные документы и деньги. Накануне отъезда я неожиданно встречаю Женю. Его, оказывается, оставили дослуживать при Училище, в караульной роте (как у нас говорили: служба – через день на ремень). Поговорили, он поздравил меня с окончанием первого курса, и на прощание сказал, что в Москве, мол, увидимся. Я не придал значения его последним словам, но где-то примерно в середине моего месячного отпуска он действительно совершенно неожиданно появляется у меня дома. В гражданской одежде, с авоськой в руке, а в ней маленький сверток в газетке (не забыли еще, что такое авоська?). Женька рассказал, что его неожиданно демобилизовали, и он едет домой, в Камышин. Мы несколько часов побродили по Москве, и он уехал.

Первое, что я услышал по приезду в Училище, это то, что Женька Тихомиров – дезертир! Надо сказать, что далеко не все хорошо понимают, что это такое – дезертирство. Напри-

мер, моя любимая жена, умная женщина (умная, но – женщина) сказала: – А что тут такого, он просто не захотел служить в армии и уехал, какое же это преступление? Ну, Нине простительно, – что женщина (даже из самых умных, как моя Ниночка) может понимать в армейских делах и в воинских преступлениях! Так вот: дезертирство всегда и везде считается одним из самых страшных воинских преступлений. А в Советском Союзе, да еще в те суровые послевоенные годы за дезертирство полагался военный трибунал, тюрьма, сталинский ГУЛАГ... А за укрывательство, за помощь, за связь с преступником, за недоносительство – ответ точно такой же! И начали постепенно вызывать на допросы всех, кто близко знал Женю. Всех курсантов нашей летной группы и многих, многих других. И не только матросов, но и офицеров: вызывали обоих его инструкторов, командира звена – старшего лейтенанта Рыкалина, командира эскадрильи – капитана Жиркова. Вызывали на допрос всех, с кем общался Женька. Всех, кроме одного человека: кроме меня, его самого близкого друга! Понимал ли я, что это не случайность? Да, эта мысль мне в голову приходила. Но понимал ли я всю серьезность положения, понимал ли я, что я у них в разработке, что моя почта у них на контроле? Как показали последующие события – не понимал. Странно мне это сейчас самому кажется: вещь то очевидная! Но вот – не понимал я, и все!

Через какое-то время, месяца, наверное, через полтора – два, я получил письмо от мамы. Письмо очень странное. Тут я отлекусся немного, чтобы объяснить, как мы получали письма. Один из наших курсантов, назначенный начальством, через день приносил из почтового отделения (нашего, училищного) письма и раздавал нам, и туда же он относил наши письма. Это очень важный момент для понимания того, что, при желании, контроль за нашей перепиской мог быть абсолютным.

А странность заключалась в том, что, во-первых, на конверте мой адрес был написан синими или черными чернилами

ми, а обратный адрес, московский, был красным?! Во-вторых, – внутри было письмо не от мамы, а от... Женьки Тихомирова! И, наконец, третье: последние слова этого письма. Само письмецо небольшое, на одной страничке: «Как дела, много ли шума я наделал, ... у меня все в порядке...». Но вот последняя фраза меня поразила, написано было так: «Ответ пиши на адрес своей мамы, а я перехвачу письмо по дороге». Вот – думай, что хочешь!

И вот я, дурачок (это – очень мягко выражаясь), написал Женьке ответное письмо, положил в конверт, написал мамин адрес и положил в карман с расчетом после конца занятий, перед обедом (а писал я его на последней лекции), бросить его в почтовый ящик. Это у нас же в кубрике. Но есть же Бог на свете!! И он послал мне в самый последний момент своего ангела-хранителя, да какого! После звонка, перед тем, как идти в кубрик, я зашел (пардон!) в туалет. Там был только один человек.

Это был уже – СТАРШИЙ лейтенант Шебашов, мой любимый инструктор. И я рассказал ему об этом странном письме и о том, что я написал ответ. Его лицо сразу как-то окаменело, он мгновенно побледнел: – Ты рассказывал об этом кому-нибудь?

– Нет, никому, только вам.

– Письмо уже отправил?

– Нет, вот оно еще в кармане.

– Иди, иди в кабинку, запри, порви все на мелкие кусочки, спусти воду, проверь, чтобы ни одного не осталось. И никому, ни-ко-му!! Ты понял, албанец?! Иди!

Я все так и сделал, и на этом, собственно, история для меня и закончилась. И все эти многие-многое годы мучила эта загадка: как я проскочил мимо своей гибели, почему меня, ближайшего Женькиного друга, не вызывали, а раз так, то за мной наверняка следили, следовательно, – знали, что я получил письмо от разыскиваемого преступника и не доложил об этом! А этого, в то время, было уже более чем достаточно для...

И до сегодняшнего дня нет у меня ответа на все эти вопросы.

Ну вот, поговорили мы с Сережей, и разошлись по своим рабочим местам: он в свою мастерскую, а я в свою. А через какое-то небольшое время он заходит ко мне и говорит:

– А ты знаешь, Марк, я принес тебе ответ на вопрос, мучивший тебя больше половины века. Твой инструктор был не первым твоим ангелом-хранителем, а вторым. А за первого ты должен молиться всю жизнь, хоть ты и не знаешь этого человека. Он ведь тебя спас от неминуемого трибунала! Он был, сто процентов, оттуда, из органов, занимавшихся этим делом, и он послал тебе сигнал: «Внимание, мальчик, будь осторожен, ты на прицеле! Ты подумай: красный цвет тревоги, что-то тут не так! И эта абсурдная последняя фраза: пиши на адрес мамы, а я по дороге перехвачу письмо!» Подумай, Марк, тут просто без вариантов!

И я действительно несколько дней ни о чем другом не мог думать.

Есть три варианта: письмо написал Женька, письмо написал следователь, чтобы поймать меня в капкан, перехватив мой ответ, и, наконец, – третий вариант – письмо-сигнал послал какой-то очень хороший человек оттуда же (ведь есть хорошие люди, только где-то их больше, а где-то меньше). По какой-то причине решивший спасти молодого семнадцатилетнего мальчишку от страшной участи. Но и в первом, и во втором вариантах – письмо должно быть наоборот – самым обычным, незаметным, не обращать на себя внимания. И еще одно соображение, очень важное, если не решающее: предположим, что из каких-то соображений, для меня необъяснимых, следователь послал вот такое письмо, какое оно было – и не получил моего (перехваченного) ответа.

Но ведь я, в этом случае, в том же захопнувшимся капкане: связь с преступником, которую я скрыл! Но меня не вызывали и после этого! А «раскололи» бы меня, конечно, эти мастера очень быстро, в этом нет никакого сомнения.

Остается только один, последний вариант.

Тут прямо, какой-то мистикой повеяло, в таких случаях можно в какую-то Высшую силу, в Высший разум поверить! Вы представьте себе эту загадочную историю в таком изложении:

Увидел Он (понимайте под этим «Он» что хотите), что один из малолетних Его сынов, хоть и не в чем не виноват, находится в большой опасности, под прицелом у врагов Рода человеческого, и послал Он через своего Ангела в лице человека с голубым околышем на фуражке (бррр!) сигнал, ясный сигнал: «Внимание, мальчик, опасность!». А мальчик то, оказывается, совсем глупый: ничего не понял и идет прямо в открытый капкан. И тогда в последний момент, за несколько минут до отправки самоубийственного письма, Он посылает второго своего Ангела в лице Шебашова Ивана Васильевича Любимого летчика-инструктора, который силой, можно сказать, спасает неразумного ученика своего от неминуемой страшной участи, сам смертельно рискуя.

Вот такая трогательная история получается!

В далеком, далеком...

У каждого человека бывают моменты, когда хочется сказать: вот у меня был случай, это было такое совпадение, такое-о-о-о-о...! У каждого в запасе есть несколько подобных моментов. Не так ли?

И, тем не менее, именно с этого я хотел бы начать свой рассказ: тот случай, о котором я хочу рассказать настолько неправдоподобен, это настолько невероятное совпадение, что я бы наверняка принял это за авторскую «придумку». И все-таки все было именно так.

Но начну я издалека, я начну с 6 ноября 1951 года, со дня окончания Военно-Морского Минно-Торпедного Авиационного Училища в городе Николаеве. Где-то в середине дня я сидел в аудитории в празднично-приподнято-тоскливом настроении, тупо глядя на вопросы экзаменационного билета по Истории партии.

Этот предмет, естественно, не пользовался особой любовью и запомнить все эти съезды, и когда, и кто, и о чем — это запомнить было просто невозможно. А это был последний выпускной экзамен, сидела передо мной экзаменационная комиссия во главе с ее председателем — генерал-лейтенантом Камомцевым, заместителем Главнокомандующего Военно-Морской Авиации, и надо ведь было ему что-то отвечать. А в голове тор-р-ричелева пустота еще и по другой причине: я знал, что сегодня в Москве уже подписан Приказ об окончании Училища и что я уже не матрос, а офицер, лейтенант, и не курсант, а штурман Морской Авиации! Трудно представить себе более идиотскую ситуацию!

Но объяснение этому было.

Дело в том, что обычно от окончания выпускных экзаменов и до Приказа проходило довольно много времени, и месящ



Прошло 4 года. Уже не «салага», а выпускник

бывало, и даже два. Это надо себе представить состояние вконец одуревших выпускников, изо дня в день ожидающих Приказа: делать абсолютно нечего, в город идти неохота, да и опасно, потому что многим очень нежелательны встречи со знакомыми девчонками, да и денег нет, да и вообще муторно на душе: ну когда же!!!!???

Ровно год назад мы, теперь уже курсанты-выпускники, в окно своего класса наблюдали такую картинку:

группа таких вот, вконец одичавших курсачей-выпускников, наловив в Буге какую-то рыбку, выпустили ее из банки в фонтан перед зданием УЛО (учебно-летний отдел), расселись вокруг фонтана с удочками, в течение часа сидели, туло уставившись на поплавок, а затем залезли в фонтан, выловили руками этих рыбок и, выкинувши отправились к себе в кубрик, спать.

У нас же ситуация была совершенно иная.

Дело в том, что был резко увеличен набор курсантов: если нас было сто девяносто пять выпускников, то на первый курс набрали что-то порядка трехсот пятидесяти человек. И все эти «салаги» жили в летних палатках, а холода что-то слишком рано наступили, они там замерзали, заболели, в общем — надо было что-то делать. И начальство приняло совершенно правильное решение, заранее написав проект Приказа и отправив его в Москву. Ведь не могли же они там, наверху, допустить, чтобы хоть один из нас из-за какой-то там двойки был лишен права достойно участвовать в будущей близкой войне за мировой коммунизм! Не надо забывать, что это было время войны в Корее, во Вьетнаме, кубинские события. В общем — слишком много денег было затрачено на каждого из нас и нельзя было пускать дело на самотек.

Таким образом — мы были обречены на достойную сдачу экзаменов.

И вот в этот день рано утром молнией пронеслась весть: Приказ подписан, сегодня выпуск!.. И мы отправились сдавать последний выпускной экзамен; для нашей группы это был экзамен по Истории нашей родной и любимой Коммунистической Партии Советского Союза.

Нет, я все-таки еще раз отвлечусь. Уж если я заговорил о выпускных экзаменах, то просто невозможно обойти экзамен — предпоследний. Он был за три дня до этого. Это был экзамен по Минно-торпедной подготовке. Эта история достойна того, чтобы не быть забытой. Для штурмана торпедоносца это одна из самых основных дисциплин; это материальная часть всевозможных мин, торпед, прицелов, этой теории и тактика использования моего основного оружия.

Да, и вот беру я билет, и мне сразу в глаза бросается второй вопрос: «Расчет угла раствора двух торпед при торпедометании по цели..... идущей со скоростью..... под курсовым углом.....».

Это был самый тяжелый вопрос из всего курса, сплошная математика, три странички, формул — брррр — страшно подумывать. Я никогда не был отличником, так, хороший середнячек в учебе. Но вот случилось так, что именно эту сложную тему я, в свое время, очень хорошо разобрал; да так хорошо, что считался лучшим знатоком этого вопроса в группе. И вот я думаю — ну, сейчас я блесну! А первый вопрос ужасный: «Приоритет Советского Союза в области развития минно-торпедного оружия». Сама тема гнусная, и мы все это хорошо понимали, и пунктов там очень много, и надо их все знать, в общем — кошмар! Да, подготовил я второй вопрос; вот, думаю, сейчас с блеском отработаю! А с первым что делать — не знаю. Ну — нашел я эти данные где-то среди таблиц и чертежей, которыми можно было пользоваться и вот выхожу я отвечать:

— Товарищ генерал, курсант Эдельштейн к ответу готов! Билет №...!

– Первый вопрос: Приоритет в.....

– О, это важный вопрос, давайте, давайте!

И я даю: – Первый самолет изобрел русский офицер А.М. Можайский в ... году.

– Первую торпеду изобрел русский морской офицер А.М. Попов в ... году

– Радио изобрел, как всем известно, русский инженер Петерсбургского Морского корпуса Попов, тем самым, заложив основы...

И вот так я отчеканил, не переводя дыхания, пунктуационно двадцать...

– По первому вопросу ответ закончил, разрешите отвечать на второй вопрос.

Генерал ошеломленно посмотрел на меня и промолвил:

– Что там у вас по второму вопросу? Расчет угла раствора торпед..... Ну, если первый, такой важный вопрос вы так хорошо знаете, то об этом и говорить нечего. Я думаю, – вы с мной согласны? – члены экзаменационной комиссии послушно закивали головами. – Молодец, вы свободны, пять!

Этот экзамен, так неожиданно и так хорошо закончившийся для меня, для одного из моих однокурсников закончился трагически. Саша Носырев – один из близких моих друзей. За месяц-полтора до этого дня вдруг стало известно, что во время войны он с матерью и сестрой были в Германии и что его сестра – о, ужас! – даже работала на химическом заводе. Молодые люди даже не могут представить себе – что это значило в то время! Да еще скрыть это при поступлении в военное училище! А он продолжал летать, (и это и сейчас меня удивляет, как же это наши доблестные органы такое допустили: а вдруг бы он направил наш дальний бомбардировщик Ил-4 с бомбами не на полигон, а на Москву, на Кремль) а потом и сдавать выпускные экзамены.

И вот пришел я с этого экзамена, люблюсь на свою новенькую офицерскую форму с золотыми лейтенантскими погонами, висящую на плечиках на спинке кровати и тут захо-

дит майор, начальник особого отдела, спрашивает: – Где Носырев? Я отвечаю, что когда я пять минут назад выходил из аудитории, он сидел с билетом, готовился к ответу.

– Вызовите его. Чтобы он шел сюда немедленно!

Я побежал в учебный корпус, передал приказание от такого-то – немедленно! Саша, а он уже стоял у доски, положил билет и, опустив голову, молча вышел. Больше мы его не видели.

А жизнь генерала Кадомцева трагически закончилась через несколько лет, когда я уже служил на Тихом океане. Он был прекрасным летчиком, летал на всех типах истребителей. И вот однажды он взлетел на МиГ-19, набрал высоту 12000 метров и вдруг слышит в наушниках приятный женский голос: «Пожар левого двигателя! Пожар левого двигателя!» А потом – услышали его голос: – «Какая еще п.... вмешивается в технику пилотирования?» – и через несколько секунд его самолет взорвался. Он не знал, что на самолете установлена новая система, следящая за работой всех приборов и агрегатов самолета и двигателя, имеющая голосовой оповещатель, срабатывающий при любом отклонении от нормальных параметров, мы его звали – «Машка». Если бы он знал об этом, то принял бы какие-то меры: можно было выключить двигатель, включить противопожарную систему, катапультироваться, в конце концов! А получилось...

Однако пора вернуться в тот день, с которого мы начинали: в класс, где я сижу с билетом и с ужасом чувствую, что если я что-то и знал, то все куда-то исчезло. И было от чего: смотрю в одно окно – ребята наши фуражки с «крабами» примеряют, смотрю в другое – последние флаги к трибуне прикрепляют! Тут надо еще один момент вспомнить, вернее – два. Совершенно естественно, что по марксизму, вместе с ленинизмом, говорильни больше, чем по любому другому предмету; следовательно, наша группа заканчивала последней. Ну, а кто последний или почти самый последний в группе? Правильно – Эдельштейн! Это здесь – в Израиле я первый везде – с «Алеф»

начинаюсь. Так что я на всем курсе последний был.

Но — есть Боженька на небе! В данном случае он проявил себя в том, что генералу срочно потребовалось выйти. И, этот же момент ко мне подсказывает полковник Андриевский, начальник цикла (кафедры — по институтски).

— Что у тебя? Пятый съезд? Пиши: год....., город..... присутствовало... человек, повестка..., выступали.....

В общем — не успел он там (генерал) привести себя в нормальный вид (благо — молний еще на брюках не было, а на пуговицы больше времени уходило), а я уже был готов к ответу, который и закончился полновесной пятеркой. Вот так я получил пятерку, а по всем остальным — четверки. Была еще пятерка за летный экзамен, но и там я «отличился». Дело в том, что наше училище было единственным в Союзе, готовившим и летчиков и штурманов. На первых курсах мы занимались отдельно, а на последнем, выпускном, три матроса-курсанта: летчик, штурман и стрелок-радист, садились вместе на боевую машину (у нас это были Ту-2 и Ил-4) и все лето летали вместе.

А экзаменационный полет — кому что выпадало: полет на разведку, бомбометание, постановка мин, торпедный удар...

Мне достался последний вариант. Но по какой-то причине, которую сейчас вспомнить, я в этот день остался без своего летчика и со мной полетел зам. командира полка майор Курзенков.

Вот подвесили мы торпеду, поставили углубление восемь метров (чтобы она под килем прошла, а не ударила в борт), взлетели и пошли на полигон на Азовское море, в Киркинитский залив. Видим цель — крейсер. Атака! Спускаемся до высоты тридцать метров и прем на него... — Боевой! — Есть боевой! Я за прицелом: — Право два! лево один!

Но вижу — не получается, не уверен я в точном попадании. Кричу: — Холостой! А в ответ слышу крик: — Бросай! Ну, нет, думаю, я имею право на три захода; штурман решает: бросать или не бросать. На втором заходе повторяется то же самое. Командир орет, а я не понимаю, — чего он нервничает. Ну,

на третьем заходе бросаю, проносимся над самыми мачтами крейсера, разворачиваемся, смотрю — след от торпеды прошел прямо под серединой крейсера! Отлично! Курс на аэродром, поехали! Только командир мой что-то молчит, не похвалил, а ведь я на отлично сдал экзамен! Ну, да — черт с ним, дело сделано, пусть молчит. Прилетаем, садимся, вылезает из машины, и тут мой майор снимает шлем, бросает его с размаху на землю — очки разлетаются вдребезги, и на меня с десятиэтажным матом!!! «Я тебе кричал: — Бросай!..мать!..мать!..мать!!!» Оказывается, еще при подлете к полигону один мотор резко сбросил обороты, что-то там с ним случилось, и мы атаковали, и шли до самой посадки почти на одном моторе. А командир берег меня, чтобы я не нервничал, — все-таки экзамен у меня.

Ну вот. Через час после последнего экзамена — торжественная церемония. Плац, все училище построено, флаги развеваются, зачитывается Приказ об окончании училища, присвоении офицерского звания и назначении на тот или иной Флот: Черноморский, Балтийский, Тихоокеанский. Я — на Тихий океан.

Каждому из нас торжественно вручается офицерское Удостоверение личности, золотые погоны и морской офицерский кортик.

И команда: — Товарищи офицеры — свободны! Это НАМ!

Ну, а дальше все — как заведено по традиции: комендантом города отдан приказ патрулям: молодых офицеров не задерживать, все центральные рестораны заказаны заранее. Гуляем!!

Следующие два дня — великие праздники Октября, продолжаем «гудеть». Девятого ноября (это мой день рождения) — с утра получаем деньги, проездные документы. Все. Вперед! Месяц отпуска и дорога на свой Флот.

Первый офицерский отпуск, девятидневная дорога в курьерском поезде «Москва — Владивосток», первые месяцы службы в боевом полку — все это я пропускаю; об этом можно целую книгу писать, но мы так никогда не доберемся до главной нити моего рассказа.

Итак, я штурман самолета первой эскадрильи 1535-го гвар-

дейского Киркинского, орденов таких-то и таких-то Минно-Торпедного полка. И, надо сказать, самый молодой летчик не только нашего полка и ВВС Тихоокеанского флота, но и с большой вероятностью — всей военной авиации страны.

Почему я так думаю? Дело в том, что я принял присягу, когда мне еще немного не исполнилось даже семнадцать лет, тогда уж получилось. А по закону присяга только с восемнадцати лет.

Ну и отсюда я моложе всех в одном училище, в другом, в полку, ну и так далее; и так — год-два после выпуска.

И не только самый молодой, но и самый непьющий, точнее — самый малопьющий: какой же матрос, выйдя из части в увольнение в город, не выпьет сто пятьдесят? Я тут ничем не отличался от всех остальных, но не любил я ее, проклятую, хотя при необходимости мог выпить не меньше других, так как организм был на «это дело» достаточно крепким.

И вот в День Красной Армии, 23-го Февраля, «за участие в коллективной пьянке» я получил совершенно необычное наказание. Пьянка — это слишком громко сказано. Просто мы собрались — четверо друзей однокашников, выпили, поговорили «за жизнь» и разошлись в разные стороны: они отправились в Дом офицеров на концерт, где и были замечены начальством, а я домой чтобы готовиться к завтрашним занятиям в десятом классе нашей вечерней школы. Дело в том, что у меня были два курса техникума, но не было «Аттестата зрелости». И вот — я не знаю, что повлиало — самый молодой, самый непьющий, а может быть — пятый пункт, но, так или иначе — трое друзей получили по выговору, а я был отстранен на месяц от летной работы и отправлен командиром взвода на лесозаготовку в сопки, на Шкотовское плато (Шкотово это наш районный центр, это большое старинное село). Все матросы моего взвода старше меня, я за свою жизнь не срубил ни одного прутика, но — должен руководить лесоповалом, ну — я и руководил. Все матросы моего взвода из нашей дивизии, — вроде как штрафники, ну и я такой — же. Считалось, что мы, командиры,

еженедельно проводим политзанятия. Подобными глупостями мы в тайге, конечно, не занимались, но один день в неделю каждый из нас использовал «для подготовки к политзанятиям».

И вот однажды остались мы в домике нашем вдвоем: я и старик-капитан, командир взвода из Шкотовского стройбата.

Я написал — старик — это с точки зрения меня, мальчишки двадцати одного года, ему было тогда, я думаю, не более сорока лет. Сидим, попиваем спиртик; он — побольше, я — поменьше, и разговариваем. А точнее — он рассказывает о войне, а я слушаю, открыв рот и развесив уши. — Прошел, говорит, всю войну от Москвы и до Берлина. Пришлось мне увидеть тысячи трупов, море крови, но ты знаешь, говорит, умирая, — буду вспоминать не их, а глаза одного мужика, на моих глазах сходящего с ума! И он начинает рассказывать

— В первые же дни войны назначили меня командиром роты ополченцев. Стояла моя рота, триста человек, в новой школе на третьем этаже в Замоскваренье.

— Ты знаешь Замоскваренье?

— Знаю, конечно.

— Ну вот. Однажды вечером, это было 26-го июля, пошел я к своей знакомой, она на Калужской площади жила. Сказал своему старшине адрес и пошел.

— Ты знаешь Калужскую площадь?

— Знаю, конечно.

— Ну вот. А утром, чуть только рассветать начало, стук в дверь, вваливается старшина: бледный, как полотно, волосы исколочены, зубы лягают: — Командир! Школу разбомбили, все погибли! Бежим мы с ним, а я думаю о том, что еще и под школой есть бомбоубежище человек на четыреста и наверняка заполненное до предела женщинами и детьми! Прибегаем, еле дыша, видим — на месте школы — гора дымящихся развалин. Как потом оказалось прямо в школу попала бомба весом — тонна, пробилла все этажи и взорвалась вниз, в бомбоубежище. Но ведь это школа: парты, доски: начался пожар. А еще

темно, а рядом Кремль, мосты, Могзе! А немцы еще бомба. Схехались десятки пожарных машин. Кто не погиб от взрыва, — тот задохнулся от дыма, от горячего пара. Ужас! Когда мы прибежали — уже отбой был, всюю раскопки идут. На улице две кучи лежат: большая — это трупы лежат, целые, расквашенные, а меньшая — это узелки с вещами, что женщины собой брали. Копают, вокруг оцепление выставлено.

И вдруг, вижу, сквозь оцепление прорывается какой-то мужик. Как сейчас вижу: полупальто желтое из нерпы, такая шапка, усы небольшие, прихрамывает. И вдруг он видит мальчишку убитого несут: голова разбита, череп пополам расколот. Он хватает этого мертвого мальчонку, прижимает к себе: Сынок!!.. Сынок!!!

И глаза его, Марк! Я эти глаза никогда в жизни не забуду! Ты был в Третьяковке?

— Б-был, товарищ капитан.

— А глаза Ивана Грозного помнишь?

Киваю головой: помню, конечно.

Ну вот, такие же желтые, из орбит вылезают; вот вижу прямо у меня на глазах человек с ума сходит.... И вдруг он как-то встряхивается: это же не он, не он..., передает мертвого ребенка кому-то и бросается в развалины..

— Марк, что с тобой!? Ты что?.. Ты что?

А я пытаюсь ответить, а сказать не могу ни слова — слова в глотке и ни слова, только мычу что-то.

— Да что с тобой, тебе плохо?

— Т-т-товарищ капитан, вы ведь обо мне рассказываете и о моем отце!

— Как так?!

— А вот так. Это было не 28-го, а 27 июля, Земский переулок дом 5, 638-я школа.

— Правильно! — Земский...638-я...Откуда ты знаешь?

— А я жил в доме 10, а в этой школе я учился. В тот день приехал из пионерского лагеря, и вечером мама повела меня

бомбоубежище. В то время бомбили немцы Москву почти каждую ночь и женщины с детьми, не дожидаясь тревоги, вечерами шли в бомбоубежища, в метро. А папа дежурил на крыше нашего двухэтажного дома и его действительно сбросило с крыши воздушной волной, но как-то удачно: вначале на крышу сарая, а потом — уже на землю и он прихрамывал. И я помню его полупальто из нерпы и такую же шапку. И эту историю — как он принял убитого мальчишку за меня, я слышал много раз и от него, и от мамы, и от соседей. Это был самый большой очаг поражения в Москве за всю войну: в бомбоубежище под школой было около четырехсот женщин и детей, и на третьем этаже — триста ваших ополченцев. А в живых осталось 18 — 20 человек, а не раненых — всего восемь человек. Мы с мамой — в их числе. Вы все очень точно рассказали. Ну, что было дальше...

Он обнял меня, стоим, обнявшись, у обоих слезы на глазах и он только повторяет: — Ну, сынок! ...ну, сынок!...ну, сынок!...

Вот такая невыдуманная история.

Прошло больше шестидесяти лет. За все это время я не встречал упоминания об этой страшной истории ни разу: ни в литературе, ни по радио или телевизору. Нигде, как будто и не было этой страшной трагедии. Все — моя выдумка. Моя фантазия.

Но вот около недели назад появился у меня компьютер, интернет. И я запросил информацию о Земском переулке, и вот, что я получил: «Многочисленные жертвы вызвало попадание фугасной бомбы в школу в Земском переулке 27-го июля. От свежестроенного здания остались лишь фрагменты лестничных клеток. Частично обвалились подвалы, где прятались от налета более трехсот человек. Лишь с большим трудом удалось освободить оставшихся в живых». Это — о нас с мамой!

«Аннушка» — машина серьезная.

Шестидесятый год, год хрущевского «великого перелома», перелома хребта Советской Армии, в первую очередь авиации, мы, т.е. я, Нина и двухлетний Ромик, встретили в Потти. Мы только после Нового Года приехали туда, на новое место службы. До этого я восемь лет прослужил на Тихоокеанском флоте: первые четыре года в Минно-Торпедной авиации на самолетах ИЛ-4, Ту-2, реактивном ИЛ-28, а потом в лодочной авиации, на больших летающих лодках Бе-6, основная задача которых — дальняя разведка и противолодочная оборона. Это большая машина с экипажем из восьми человек: два пилота, штурман, борттехник, радист, оператор радиолокационной станции и три башенных стрелка: у каждого — своя установка из двух пушек НР-23; да у меня еще одна такая же в носу. Вот такая серьезная машина.



Мой последний боевой самолет — летающая лодка Бе-6

Внутри — четыре или пять отсеков (забыл уже точно, ведь более сорока лет прошло!) разделенных водонепроницаемыми переборками. Как на настоящем корабле! Он и есть корабль, только с крыльями. То, что Бе-6 — корабль, это, прежде всего меня касалось: пилот — он и есть пилот, только взлетает с воды и садится на нее; ну и соответственно всем остальным членам экипажа разницы практически никакой. Но только не штурману, потому как штурман здесь — он же и боцман. В моем отсеке кроме навигационного оборудования, как в штурманской кабине любого уважающего себя самолета, находится еще все морское снаряжение, находившееся в полном моем распоряжении: выдвинные кнехты и складной багор для постановки самолета «на бочку» (это самое первое, что должен освоить штурман по приходу в лодочную авиацию), тяжеленный якорь с лебедкой, плавучий якорь (это что-то вроде парашюта с куполом из плотной парусины), бросательный конец, морской бинокль, рупор-матюгалник (эй вы там, на катере, мать вашу!!)

Когда я пришел в эту часть, на лодки, мне сразу предложили сменить фамилию на Кацман. Я не сразу понял, зачем это, потом только дошло: хорошо бы звучало: штурман-боцман Кацман.

Лодочники, надо сказать, с величайшим презрением относятся ко всему остальному авиационному миру: салаги, что с них взять, сухопутчики! Что училище морское кончали, форма морская, все это — штуйют, все равно салаги! И выйти из этого гнусного состояния можно было только и единственно путем «оморячивания». Как это происходит — я впервые увидел и испытал на самом себе. Когда я прибыл в эту часть, я был, понятно, единственным салагой и совершенно не представлял себе, что мне предстоит в недалеком будущем. А должность у меня была такая — штурман корабля — начальник парашютной и аварийно-спасательной службы части. Дело в том, что это была Отдельная эскадрилья, всего десять экипажей и многие должности были совмещены: начальник штаба — штурман, замполит, начальник аэрофотослужбы (Сеня Фед-

нер, близкий друг и в части, и много, много лет после демобилизации) — все штурманы.

И вот с наступлением весны, бухта только вскрылась, началась подготовка к полетам. Я запланировал себе занятия с летным составом по аварийно-спасательным средствам, и в одно прекрасное утро, погрузив на палубу нашей маленькой баржи кучу всевозможного спасательного снаряжения, вышли мы в море. Народ сидит, покуливает, в шахматы играют, а меня — ноль внимания, а я соображаю с чего начинать: ведь первый раз мне предстоит проводить занятие с такими же летчиками, как я сам. Отошли от берега мили на две, подальше от глаз начальства, застопорили ход, ну и я говорю, что, мол, давайте начинать занятия. Но не тут то было: потребовали у меня снять часы, отдать документы и я понял: будут макать! На какие мои отговорки не помогли и через секунду я, как был в кителе, брюках, ботинках — летел с баржи в море. Вылез, снял все, дрожу от холода — ведь еще льдины рядом плавают, но все было предусмотрено: дали не только заранее приготовленный сухой комбинезон, но в кармане я обнаружил четвертинку «Московской» и соленый огурчик, аккуратно завернутый в оторванную страничку Дисциплинарного устава, где говорилось о наказаниях за употребление... Посмотрели, летуны, как я согрелся, а теперь, говорят, поздравляем, вот теперь ты настоящий моряк и учи теперь ты нас всем аварийным и спасательным средствам.

Ну ладно, со мной то просто, а вот потом замполит новый появился, начальство все-таки. Мы подождали какое-то время, а потом подступили к командиру эскадрильи: что же, мол, такое, товарищ подполковник, происходит, чему этот салага нас может научить, о какой любви к Родине, к нашей Партии, о какой морали он, салага неоморяченная морже нам говорит!? Примите меры, товарищ командир, а то мы сами возьмемся за это дело! Командир, подполковник Меделян, а это был мужик ростом под два метра, кулаки — пудовые, шея — как у слона хобот.

слушал, слушал нас, а потом говорит: — Ладно, завтра утром перед полетами пойду акваторий осматривать, возьму его с собой.

Утром, после построения и доведения плана на день, все собрались на берегу около самолетов. Ждем. Собрались все — летающие сегодня и не летающие: интересно же посмотреть на оморачивание начальственного салаги, тем более что он уже успел себя зарекомендовать довольно неприятным человеком (и вообще, — откуда он взялся — такой шустрый: был в развед. полку рядовым штурманом, и вдруг к нам — замполитом — это настораживало).

Выходит из штаба Меделян и идет к пирсу, где его уже ждет катер. Около катера остановился, вроде бы что-то вспоминая:

— А, да... капитан, идите сюда: вы еще бухту нашу не видели, пойдемте вместе осмотрим акваторию перед началом полетов.

Мотор взревел, и они понеслись от берега; сделали круг по бухте и направились к берегу. Остановились метрах в ста. Стоят они на борту, о чем-то разговаривают. Собственно — мы хоть и не слышим каждое слово, но прекрасно понимаем, о чем речь: — Давай Удостоверение личности, партийный билет, снимай часы. Фуражку не снимай!! Ну, а потом — от толчка могучего меделянова кулачища бедный замполит кубарем летит с борта в море.

Ну, мы с замполитом ладно, нас все-таки хоть чуть-чуть считали моряками: клеши черные носили, «краб» морской на фуражке, вроде бы есть какая-то причастность к флоту, но, когда к нам прибыли семь молодых летчиков в зеленой армейской форме, этого мы спокойно перенести не могли! И командир объявил на первое же воскресенье торжественный сбор на Праздник Нептуна. Явка на пирс к десяти часам, салагам форма — парадная! Разрешено присутствие боевых подруг и детей. Праздник был по полной форме: был Нептун в золотой короне и бороде, раскрашенные сажей голые черти с рогами, около пирса болтался в ярко-красной МЛАС-1 (Морская лодка авиационная спасательная, в сложенном состоянии находится у нас в

каждом парашютном ранце) Сень Феднер в виде русалки фотоаппаратом в руках. Нептун торжественно развернул праздничный свиток и громко начал читать «Приказ об оморожении семерых салага». Этот приказ мы составляли и писали вместе примерно так, как запорожцы писали письмо на камне у Репина. Я его весь, конечно, не помню, много воды ушло с тех дней, но кое-что осталось; например пункты такие.

— Каждый вышепоименованный салага перед бережным оканьем в святую океанскую воду во избежание утопления должен быть привязан за левую ногу толстым пеньковым канатом.

— Каждый вышепоименованный салага, перед выниманием его из святой океанской воды, должен трижды поцеловать гранитные устои Океанского пирса (ж.д. станция «Океанская» и наш морской аэродром «Океанская», все это — в курортной зоне Владивостока), что должно быть подтверждено фотоконтролем. В случае неудачного фотографирования процесс целования повторить.

И много еще подобных пунктов.

Тут набежали черти, быстро привязали каждого толстым канатом за левую ногу, бесцеремонно (но тщательно) обыскали в поисках документов, сняли с рук часы и, по команде ниво махнувшего платком Нептуна, все «вышепоименованные» блестя начищенными сапогами и туговицами, дружно полезли в море. После целования насквозь проржавевших железных труб, на которых держался пирс, (гранитные устои), всех подняли наверх, но после громкого заявления Феднера о том, что фотографирование было неудачным, весь процесс был повторен еще раз. Ну, а вскоре все они получили морскую форму.

25.2.04. Только я собрался написать о том, что далеко не всегда нам было так весело и рассказать о трагической истории, о катастрофе в нашей эскадрилье и о похоронах друзей — это было за месяц — полтора до веселого праздника Нептуна, как услышал по радиостанции РЭКА о том, что сорок миль назад в Хайфе очередной бандит-самоубийца из «исламской

дожикада» взорвал ресторан «Максим». Убито восемнадцать человек, в том числе пятеро детей, ранено около шестидесяти, многие из них — очень тяжело. Если — крайний срок — до утра, Арафат не будет депортирован или (еще лучше) уничтожен и на этот раз — я буду окончательно утвержден в мыслях о том, что место бывшего героя и боевого генерала Шарона — в уютном домашнем кресле, а не в кресле главы государства. Вот так и живем.

Ну, как бы то не было, а жизнь продолжается, и я продолжу.

Начало лета. Бухта очистилась ото льда, и начались полеты. И вскоре случилась у нас катастрофа: ночью при посадке, разбился самолет (буквально — разбился о воду). Перед самым приводнением вдруг появился большой правый крен, машина цепляет крылом за воду...

Лодка, разбивается при посадке..., случай почти невероятный.

Хоронить разбившихся друзей, сослуживцев, мне, за тридцать восемь лет летной работы, пришлось, к великому сожалению, довольно много. Только на третьем, последнем, курсе училища, когда мы летали на боевых самолетах (Пе-2, Ту-2, Ил-4) курсантскими экипажами: летчик, штурман и стрелок-радист, мы проводили, как говорится, в последний путь восемь наших курсантов, восемь наших молодых ребят: машины, на которых мы летали, были старые, еще с военных времен, а опыта у нас было понятно сколько... Почти ни один летный день не обходился без отказов, вынужденных посадок. Один наш экипаж сел вынужденно на воду, в море. На его счастье это произошло совсем недалеко от берега, что-то в пределах половины километра, прямо на наших глазах (наш аэродром тогда был на самом берегу Азовского моря, около города Скадовска). Достаточно быстро (на наш взгляд, не на их) наш катер выловил бедолаг и доставил их на аэродром. И вот стоят они, покрытые «гусиной кожей», трясутся от холода, зуб на зуб не попадает (осень, вода в море уже ледяная), а вокруг них крутится наш полковой доктор с бутылкой спирта в руках и никак не решит что делать: то ли выпить дать, то ли

растирать их этим спиртом. Правильное решение ему, конечно, напрашивалось, но ведь это шло вразрез с основными положениями Дисциплинарного Устава: рядовые матросы...спирт...«употребление»...рабочее время... В это время подбегает командир полка: — Дай бутылку, м...к! — наливает каждому по стакану: — Грейтесь, ребята!

Да что далеко ходить: я уже где-то писал о том, как во время экзаменационного полета мы выполняли торпедную атаку и возвращались на аэродром, по сути дела, на одном двигателе. На наше со стрелком-радиистом счастье, по какой-то, уж не помню за давностью времени, причине с нами был не наш летчик-курсант, а заместитель командира полка по летной подготовке майор Куренков. Спасибо ему! Хотя и обматерил он меня крепко после посадки. Но это уже другая история.

Однако пора вернуться на Океанскую. Не хочется вспоминать похороны, поминки поочередно в трех домах...Моя молодая жена тогда в первый и последний раз увидела меня, мягко выражаясь, в более чем неприличном состоянии. Нет, если честно говорить, то был еще один раз, через двадцать восемь лет. Ну, а тогда Нина все понимала и не попрекала меня.

Вообще, надо сказать, годы, проведенные на Океанской, были самым лучшим периодом во всей моей службе в Морской Aviации. Тут сразу все изменилось как в сказке. Ну, во-первых, — из одного из самых отдаленных и глухих гарнизонов я попал в самый лучший авиационный гарнизон Тихоокеанского флота: на самом берегу моря, Владивосток рядом, кругом санатории, магазины. Вода и электричество неограниченно и круглые сутки!!! Смешно, да? А в Сергеевке, откуда я приехал, воду раз в день привозила водовозка, а электричество включалось от своего движка на несколько часов вечером. И до ближайшей деревни было шесть километров. А летали, между прочим, на современных реактивных самолетах! Прошло с тех пор более сорока лет; я думал, что уже все не так, все изменилось, но, увидев по телевизору гарнизон, дома и ус-

ловия жизни моряков атомных подводных лодок, (это — в связи с трагедией «Курска») я понял, что в России — это НАВСЕГДА. Во-вторых, — я приехал на Океанскую сразу после свадьбы. ГДА. Во-вторых, — я приехал на Океанскую сразу после свадьбы с молодой красавицей-женой, это тоже немаловажный фактор, потом сын родился, Ромочка; семья, совсем другая жизнь. В смысле чисто профессиональном тоже изменения: я штурман, а все годы до этого мне хотелось больше заниматься раб-ботой чисто штурманской, навигационной, т.е. больше летать, по большим маршрутам. И это здесь я получил. Хотя, забегая вперед, должен сказать, что только в Полярной Aviации я понял, что такое настоящая штурманская работа: это когда сегодня мы пять раз слетали за рыбой на озеро Надудотурку (за сто сорок километров от Диксона), а вечером мне говорит командир отряда: — Марк, завтра на полюс пойдешь; а потом на ледовую разведку. Это восемь — двенадцать часов на высоте двести — триста метров (а если прижмет облачность, то и на метрах пятидесяти часами ходишь) в открытом океане. И тут, штурман, крутись, тут точность нужна ювелирная. А потом ночью будят: сан. рейс на, скажем, Землю Франца-Иосифа (и тут Иосифы, Айсберги, нигде без них...), больного надо срочно доставить в больницу на Диксон. А там надо за чем-то слетать «до конца географии» т.е. на мыс Шмидта, на Чукотку. И во всех этих случаях готовишься полчаса, ну — час, а зачем больше: начертил маршрут, рассчитал топливо, получил погоду у синоптика — и на самолет. Были бы только карты, а они всегда в портфеле на весь Союз и на весь Ледовитый океан. Вот это и есть классическая штурманская работа. И мое счастье, что довелось много лет такой работой заниматься.

Далеко я «уехал» от Океанской. Но уж простите меня: если годы на Океанской были лучшими годами службы на флоте, то годы работы в Арктике были самыми счастливыми годами моей жизни. Как вспоминать, так трудно уж и остановиться.

На Океанской мне запомнились две встречи. Обе — в Японском море. Первая — с шаровой молнией. Жаркий летний день,

в небе ни облачка, от берега несколько сот километров, маленькая, небольшая, порядка что-то двухсот метров. Спокойная, безветренная обстановка в самолете. Мы в это время обедали. Всплыла на память пришли строчки из «Энеиды» Котляревского (украинцы ее все знают, в школе изучают, а я купил книгу в 1952-м году и до сих пор удовольствие от нее получаю):

«Эней, в тот час, глушил сивуху и сельдью жирной заедая,
Седьмую вылакав осьмуху, остатки кварты допивал».

У меня было несколько скромней: оператор принес банку сосисок, банку сгущенки, галеты, кружку горячего кофе; сию, блаженствую. И вдруг впереди, прямо по носу, яркий, ослепительный свет! Смотрю – на самом кончике ствола моей пушки яркий, яркий шар размером с апельсин, весь переливается, дышит, шевелится и медленно движется по стволу носа самолета, то есть – прямо ко мне. Прямо скажем, было очень и очень не по себе. Я замер, вот так, наверно, чувствуя себя кролик перед удавом, я не догадался даже выскочить из своей кабины назад, к пилотам. Стоял и заворожено смотрю на приближающийся шарик. А он катился, катился, и, добравшись до стекла кабины, – взорвался со страшным грохотом. Сгорела вся электроника, мой радиокompас, все радиостанции. Так, без связи, несколько часов и ехали домой. Там уже требовалось! А на стволе пушки обнаружили что-то вроде шва: как будто сварочным аппаратом прошли.

А вторая встреча – с «Нептуном» – американским морским разведчиком.

Проходили какие-то большие флотские учения. Наш экипаж выполнял разведывательный полет в сторону японских берегов. На этот раз это был обычный разведывательный полет по плану учебно-боевой подготовки, т.е. без каких бы то ни было фактических разведывательных заданий; это в отличие от так называемых полетов «на спецзадание». А задание, например, такое: полет по строго определенному маршруту

какой-то точке японского побережья, а затем – вдоль границы территориальных вод до определенной точки и, затем возвращение домой. Но, надо отдать им (высоким штабам или органам, организовавшим эти полеты) должное – мы ходили только в нейтральных водах и даже на достаточном удалении от границ территориальных вод Японии. Впрочем, – по-другому было более чем рискованно: всякий раз при подходе к границе – на экране локатора где-то в задней полусфере, на расстоянии нескольких километров, появлялась светящаяся точка, т.е. самолет, сопровождавший нас, пока мы не разворачивались в сторону моря. Вот в этой ситуации ошибка штурмана могла стоить экипажу жизни. Дело в том, что это были годы т.н. «холодной войны», и мы достаточно часто слышали по радио и читали в газетах, как навстречу нарушившему со стороны моря советскую границу американскому самолету-разведчику вылетел наш истребитель перехватчик, и самолет-нарушитель «ушел со снижением в сторону моря». Поэтому на подобные задания посылались штурманы наиболее подготовленные. Но наше дело, экипажа, пролететь по заданному маршруту, и все; а то, что в бытовом отсеке на столе какие-то электронные блоки стоят и около них два незнакомых морячка в офицерских погонах сидят, так это – не наше дело и лучше этим не интересоваться.

Но на этот раз был простой полет по плану боевой подготовки, спокойный полет в открытом море. Я сижу в кабине оператора и занимаюсь с ним, натаскиваю по работе с локатором, с картой. Тут я должен пояснить кое-что. Предполагалось, что на самолете Бе-6 будет два штурмана: штурман корабля и второй штурман – штурман-оператор. Но потом кто-то что-то передумал, и от второго штурмана отказались. А так как работать с локатором и еще с кое-каким оборудованием кому-то нужно, то вместо него посадили матроса, совершенно неподготовленного. Ну, а дальше, штурман, – хочешь иметь хоть какого никакого себе помощника – учи, тренируй, натаскивай! И вот этим я и занимаюсь. И вдруг слышу истошный

крик Аркаши Новикова, командира: – Ма-а-рк!! Слева на траверзе «Нептуну», фотографируй!! Я стремглав несусь в свою кабину, смотрю – слева пристроился и идет параллельным курсом «Нептун», прекрасный американский морской разведчик. Хорошо вижу двух пилотов в белых шлемах, правый нам ручкой помахивает, стервец! Поднимаю окно, хватаю свой фотоаппарат (АФА-27 – аэрофотоаппарат, фокусное расстояние 27 сантиметром, весом шесть-семь килограмм) и щелкаю, щелкаю, щелкаю. Смотрю – и у него в хвосте лючок открывается, а там объектив проблескивает: и он фотографирует. Одновременно кричу радисту: – Передавай: время.... Широта.... Долгота...Рядом «Нептун». Немедленный ответ: – Не реагировать, продолжайте выполнять задание. А он еще пару минут прошел рядом, потом помахал нам крыльями, отвернул и пошел в сторону Владивостока. А что? Встретились два разведчика, поприветствовали друг друга и пошли – каждый по своим делам. Все нормально.



*Американский морской разведчик
«Нептун»*

и много хорошего, и не очень.... Однажды подняли наш экипаж по тревоге: в районе полигона «Бухта Анна» упал торпедоносец ИЛ-28, экипаж возможно катапультировался. Шесть часов, до темноты, мы там ходили на малой высоте, иногда снижаясь до бреющего полета, когда казалось – что-то видим.

Одна из этих фотографий сохранилась до сегодняшнего дня и лежит в моем альбоме.

Хороший был период жизни и службы на Океанской. До сих пор мы с Ниной с удовольствием вспоминаем Океанскую. Владивосток, друзей, которых там приобрели и, с которыми было пережито

но никого не нашли. Знал бы я, кого мы искали! А искали мы одного из самых близких наших с Ниной друзей – штурмана Сашу Бендришева.

Он, после катапультирования, до темноты продержался на воде, а потом, увидев огни крейсера, так же вышедшего в тот район на поиски, всю ночь плыл к нему. Не доплыл шестьдесят метров до борта, где его и обнаружили с рассветом. Умершего от переохлаждения организма за тридцать-сорок минут до обнаружения, так определили медики. Была у него дочь – Ниночка, ей тогда было лет пять, а сын родился через два месяца после Сашиной гибели. Со Светой, его женой, мы по-прежнему очень близки, хотя и живем в разных концах света. Последний раз мы разговаривали с ней неделю назад: поздравляли ее с великим праздником (и, заодно, с Днем рождения): через двадцать два года подошла ее очередь и ей поставили телефон. Теперь между Дальним и Ближним Востоком есть надежная связь.

В декабре 1959 года я получил приказ о переводе на Черноморский флот и мы, собрав свои нехитрые пожитки, отправились на новое место службы в город Поти. Аэродром наш находился на озере Палеостоме, те же самолеты БЕ-6, та же работа – разведка и противолодочная оборона. И там меня застал через полгода знаменитый хрущевский разгром армии. Мы слышали, конечно, что готовится сокращение, которое коснется и авиации, но были совершенно уверены, что к нам это не имеет никакого отношения: ну, ладно, в мудрую голову нашего дорогого Никиты Сергеевича втемяшилась мысль о том, что теперь ракеты заменят все, не нужны бомбардировщики, не нужны торпедоносцы, все заменят ракеты. Только ракеты! Но ведь разведку-то ракеты вести не будут, противолодочную оборону главной базы Черноморского Флота, Севастополя, ракеты тоже проводить не смогут. Тут нас никто изменить не сможет, на этот счет мы были совершенно спокойны. Тем более, что мы хорошо знали о расширении на турецком берегу, как раз напротив Севастополя, американской базы

подводных лодок.

Действительность оказалась совершенно иной. Минно-торпедная авиация расформировывалась целыми дивизиями, наш полк противолодочной обороны расформировали, эскадрилья на Океанской тоже разогнана, от всей Морской авиации остались «рожки да ножки», я только о ней сейчас и говорю. Говорю о том, что знаю и, свидетелем чего был сам, но во всех ВВС страны было то же самое: многие тысячи исправных боевых самолетов были уничтожены, разрезаны на металлолом, перековали, так сказать, мечи на орала; многие тысячи, а точнее – десятки тысяч авиаторов, т.е. мужчин, не имеющих никакой другой профессии, умеющих только управлять самолетом, но уже обремененных семьями, детьми, и вынужденных начинать жизнь с нуля, то есть с того, с чего начинают мальчишки после окончания десятого класса. Да еще в результате совершенно противозаконных махинаций с перерасчетом летного стажа громадное количество летчиков было демобилизовано без пенсий, ими уже выслуженной. А чтобы не быть голословным насчет «многих тысяч самолетов» – приведу конкретный пример. На аэродром «Николаевка», это на Тихоокеанском флоте, там стояла моя дивизия, согнали более двухсот (двухсот!!) машин ИЛ-28, это реактивные торпедоносцы бомбардировщики и разведчики. Офицеров демобилизовали, а матросам сказали примерно так: – Братцы матросики! Вам тоже будет досрочный дембель. Но вначале вы должны выполнить важную задачу. Перекуем мечи не орала! Народному хозяйству нужен металл; вот вам автоген, пилы, кувалды. Шуруй, ребята, вон с того края. Как закончите, – так – и домой! Шутки шутками, а с помощью матросов все самолеты были уничтожены. К слову: в дивизии нашей было порядка девятиста самолетов. Но ведь это только на Тихоокеанском флоте, а был еще Черноморский, Северный, Балтийский! И вся армейская авиация, которая во много раз больше морской!

Авиация была разгромлена без всякой войны. Через пол-

тора – два года спохватились, и многие молодые летчики были вызваны в военкоматы для получения предписаний о явке в воинские части для прохождения военной службы. Но никакой мобилизации, понятно, объявлено не было, и расчет был на незнание законов. А уж потом, когда летчик приехал в часть, и его там просветили – уже поздно, как говорится – поезд уже ушел. Если вы думаете, что я утрирую, фантазирую, то вот конкретный пример: двое наших ребят из потийского полка получили повестки явиться к военкому, и он им объяснил, что Советской Армии опять требуются боевые летчики, и им надлежит получить предписания и проездные документы для отправки в часть. И сколько они не говорили о том, что они не хотели демобилизовываться, писали рапорта с просьбой оставить их в армии, их выгнали как ненужных собак, лишив пенсии. А теперь, когда они уже устроились на работу, жены работают, дети в садике, получили квартиры, теперь они опять понадобились, опять должны все бросить?! Ответ был один: положите партийные билеты на стол (они оба были, к сожалению, членами этого черного ордена) и будете отданы под суд за уклонение от воинской повинности. Ну, что делать. Они уже получили все необходимые бумаги и через несколько дней должны были уезжать, но случайно разговорились об этом с дядей одного из них, старым юристом. Он их просветил и проинструктировал, как вести себя с военкомом. Ребята пришли к военкому, бросили на стол все свои бумаги и сказали ему:

– Товарищ полковник! Засуньте эти бумажки себе в ж..., и пока не будет Закона о всеобщей мобилизации или Закона о мобилизации нашего ВУСа (вус – военно-учетная специальность), больше нам их не присылайте. С нами этот номер не пройдет! Повернулись и ушли. И на этом дело кончилось. Для них кончилось. А для многих – нет. Узнав об этом, я несколькими приятелям, попавшим в подобную ситуацию, рассказал об этом, и тем самым, спас их от этого бандитского призыва. Срабатывало безотказно в разных райвоенкоматах Москвы. А

ребята были до такой степени возмущены тем, что им вторым раз хотят поломать жизнь, не имея на это никакого права, что высказали это все военному именно так, как у меня написано.

Ну, а я с первых дней «на гражданке» начал пробиваться в Полярную Авиацию. Когда мне кадровик говорил прийти через три месяца — я являлся через месяц, когда он говорил через месяц, я приходил через пять дней. И так продолжалось полтора года. А пока работал в каком-то НИИ лаборантом, потом — техником. И однажды, когда я в очередной раз явился в Управление, кадровик сказал мне: — Зайди через неделю. Я, конечно, пришел через день. И тут уж Исаев, Начальник Отдела кадров, взмолился: — Ну, сколько можно! Я же сказал через неделю. Марк Иванович будет, будет в Москве через три дня, вот на четвертый день и приходите. Все, разговор окончен, свидания! Эти три дня я провел как во сне, я перебирал все возможные варианты, и все сходилось на одном: меня берут на работу! И ждут только приезда Марка Ивановича Шевелева, Начальника Полярной Авиации, который должен подписать Приказ.

На четвертый день утром я, конечно, был там. Увидев меня, суровый кадровик, проработавший там лет двадцать пять, встал, подошел ко мне с протянутой рукой и сказал:

— Марк Соломонович, Приказом Шевелева вы назначены штурманом корабля в 254-й отряд. Увольняйтесь с работы, и через три дня ваша группа приступает к занятиям в УТО.

Почему я так подробно и, может быть, даже несколько занудливо об этом рассказываю? Только летчик может понять, что значит быть выгнанным не по своей вине из авиации, а полтора года практически потерять всякую надежду войти когда-нибудь в кабину самолета, все это время заниматься на работе делом, которому не учился, которое не знаешь и не любишь и вдруг услышать, что ты опять в авиации, что впереди опять самолеты, небо, полеты! Да где — в Полярной Авиации!

Молодому поколению это уже не очень понятно, а мы воспитаны были на подвигах полярных летчиков: Водопьянов,

Мазурок, Аккуратов, Черевичный, Спасение Нобеля, челюскинская и папанинская эпопеи, проводка караванов по Северному морскому пути!! Да что там говорить, мы все только читали и не смели даже мечтать об этом! И вот мне говорят, что я опять штурман, и не где-нибудь, а в Полярной Авиации! Это надо пережить. Я вот и сейчас пишу и заново переживаю этот прекрасный момент. Вспоминается как однажды, несколько лет спустя, мы встретились с этим самым Исаевым летом в лагере, где был мой Ромик, и его внук. Приехали в Москву, я пригласил его в ресторан и там, посидев хорошо, спросил:

— Сергей Сергеевич, как у вас терпения на меня хватило: я являлся к вам несколько десятков раз, наверно в десять раз чаще, чем вы говорили, надоел вам ужасно. И вы ни разу не повысили голос, ни разу не психанули, не выгнали меня ни разу за назойливость? И вдруг этот человек, которому по его профессии должна бы, кажется, быть чужда всякая «ширика», посмотрел на меня и сказал: — Марк, когда вы приходили, я видел ваши глаза. Этих его слов я никогда не забуду. Что-то он в них увидел.

А потом месяц переподготовки в УТО (Учебно-тренировочный отряд). Ежедневно шесть-восемь часов занятий: самолеты, приборное оборудование, электро и радиооборудование, очень много метеорологии, и больше всего, конечно, штурманская подготовка, то есть — самолетовождение. Тут для нас было больше всего нового: совершенно новые для нас карты, астрономия, астрокомпасы, секстант, гироскопические системы, да разве все перечислишь! И все это так интересно было! Но, кроме того, мы понимали, что знать все это нам надо не просто хорошо, а безукоризненно, так как от этих наших знаний и умения применить их в каждом полете в Арктике будет зависеть даже не только результат работы, но и жизнь всего экипажа.

Не могу тут не вспомнить одну историю, произошедшую лет через пять-шесть после начала моей работы в Арктике, я тогда уже работал в другом отряде. Экипаж пошел с Диксона на какую-то СП, если память мне не изменяет — СП-21. Тогда

каждый год высаживали в заданном районе океана одну станцию, и каждая из них крутилась там несколько лет. Прилетели они туда, закончили свои дела, взлетели и взяли курс на Диксон. Но перед вылетом штурман, выставя астрокомпас, поставил Гринвичский часовой угол с ошибкой на 180 градусов и, взяв курс на Диксон, пошел, на самом деле, в обратную сторону. И здесь такое совпадение: поскольку они шли строго в обратную сторону, то находились они точно на линии, соединяющей Диксон и СП и пеленги, которые давал Диксон подтверждали, что самолет находится строго на линии пути. Только вот радист стал жаловаться, что он Диксон слышит все слабее и слабее. Короче говоря, разобрались они, что идут не туда через значительное время, уйдя далеко в сторону Канады. Подали сигнал бедствия (SOS). Подняли «на ноги» всю Арктику, с большим трудом запеленговали их и вывели на ближайшую к ним СП, кажется СП-19. Сели там буквально на последних каплях горючего. В общем, — ребята чудом остались живы. Вот к чему может привести вроде бы такая мелочь: не ту цифру поставил на приборе!

Однако вернемся на пять-шесть лет назад к себе в УТО.

А преподавали нам самолетовождение три штурмана, из которых мы смотрели как на богов: Лев Миронович Рубинштейн, Вадим Петрович Падалко (они оба уже не летали и были только преподавателями) и Валентин Иванович Аккуратов — флагштурман Полярной Авиации. Это они в 1937-м году впервые в истории привели свои тяжелые машины ТБ-3 на Северный полюс и высадили там группу Папанина! И вот теперь они передавали нам свои знания. Дух захватывало! Один из тех пилотов — Мазурук Илья Павлович, в то время еще летал, и мне даже довелось один раз лететь с ним.

Теория закончена, теперь предстоит летный экзамен. Самолет ИЛ-14, командир — Константин Михаленко (с Костей у меня потом будет много общего), штурман-инструктор — Дмитрий Морозов, маршрут — Москва, Архангельск и далее

по арктическому побережью «до конца географии» — Амдерма, Диксон, Хатанга, Тикси, Чокурдах, Кресты Колымские, Мыс Шмидта. И тем же путем — обратно. И наша группа — восемь штурманов, еще не верящих в свое счастье. Уже там, в полете, Морозов говорит любому из нас: — Следующий этап — вапш. И так, по очереди меняясь, мы прошли весь маршрут.

После этого — месяц стажировки. Прилетел я на Диксон на пассажирском ИЛ. Спрашиваю: — Где экипаж Ракитянского?

— А кто его знает, носится где-то, ждите!

Пришел я в отведенную мне комнату, на второй кровати спит какой-то старичок (я сейчас думаю, что он был моложе меня сегодняшнего, но мне тогда было только тридцать два года). Потом он проснулся, оживился, увидев меня, — давай, говорит, выпьем и познакомимся! Выпили, перекурили, выпили по второй, и тут он, немного захмелев, вдруг начал мне жаловаться:

— Понимаешь, говорит, ешь твою копоть, летел я вчера из Москвы, а рядом сидит бухгалтер из Норильска, толстый такой. И он меня спрашивает: — Ты знаешь, кто открыл Норильск? Это меня, ты понимаешь, ешь твою копоть, он спрашивает: — Кто открыл Норильск!! Я ему говорю: — Я открыл Норильск! А он не понимает, и опять, — а вот ты знаешь, кто открыл Норильск? А я ему опять, ешь твою копоть, да я, я открыл Норильск! И с такой обидой он мне это рассказывал, я его рассказ передаю, конечно, в очень сокращенном виде. Потом он задремал, а я вышел в коридор и спросил у кого-то из летчиков: — Что это за чудак такой? А мне отвечают: — Да это же Матвей Ильич Козлов! Вот оно что! Матвей Ильич Козлов, старейший полярный летчик, он участвовал еще в Папанин-ской эпопее, это легендарная личность в Полярной Авиации. У нас старые полярники, в том числе и имевшие Золотые звезды, говорили так: — Если в Полярной Авиации и есть настоящие Герои, то это Мотя Козлов. Но у него-то как раз Золотой звезды то и не было. По одному его полету, когда он спасал несколько десятков человек с торпедированного парохода «Ма-

рия Раскова» был сделан фильм «Остров Безымянный». О Матвее Ильиче можно очень много рассказывать, а можно в Интернете запросить — «Полярный летчик Матвей Ильич Козлов» и там о нем много интересного можно прочитать. Я не могу удержаться и не рассказать одну историю, о которой нигде не было написано. История о том, как Мотя Козлов не получил Героя.

А дело было так. Во второй половине тридцатых годов на какой-то юбилей в семье очень высокопоставленного человека — то ли наркома, то ли маршала какого-то — в Доме Правительства (знаменитый «Дом на Набережной») в числе прочих приглашенных была и группа полярных летчиков, только что вернувшихся в Москву после выполнения очередного важного задания — то ли спасения челюскинцев, то ли после папанин-ской эпопеи. И вот группа этих, молодых еще тогда ребят, нагруженных подарками, подходит к дому и видит — стоит извозчик с упряжкой. Ну, и у них сразу появилась мысль — как это можно использовать. А главным заводилой был, конечно, Мотя Козлов. И вот они чинно поднимаются на какой-то там высокий этаж, звонят, в прихожей стоит хозяин с женой — встречают гостей. Гости уже почти все пришли и, когда они открывают дверь на очередной звонок, в дверях появляется кобыла, к шее которой привязаны многочисленные подарочные коробки. Представляете сценку?! Самое сложное было — свести кобылу вниз: оказывается лошадь не может идти вниз по лестнице. Так вот, через несколько дней, когда Сталину подали для подписи Указ о награждении этой группы летчиков, то он против фамилии — Козлов М. И. соизволил написать: «А этому хулигану — х.., а не Золотую Звезду» И. Сталин. Это был первый раз, потом еще два раза подавали на него Представления на Героя, но Золотую звезду он так и не получил.

В мое время он уже, конечно не летал, а в Арктику он прилетел пассажиром — диспетчерить на главной ледовой базе во время Авиационной Высокоширотной экспедиции.

На его похороны, в конце восьмидесятых, пришли не-

сколько сот человек. Ордена несли примерно на тридцати красных бархатных подушечках. Только орденов Ленина было четыре, как у Жукова.....

А его — «ешь твою копоть» — стало у нас классикой.

Хотел я вернуться к своей, основной теме, но появилось еще одно воспоминание, связанное с тем же месяцем моей стажировки. Да и вообще, что такое — основная тема? Да все эти мои воспоминания, это основная тема: разве рассказ о Моте Козлове — это не основная тема? Просто мне хочется, как можно больше рассказать о том периоде моей жизни, который я провел на невероятно интересной работе и в удивительном районе Земли — в Арктике, об интересных, и известных людях, с которыми мне пришлось там встречаться и работать. И все это, как говорится, «взгляд изнутри», рассказ человека, не имеющего никакого навыка в писательском деле, но видевшего все, о чем пишет, своими глазами, участвовавшего, переживавшего... Чаще мы встречаем рассказы об этом у писателей, которые хорошо умеют писать, но не знакомы с той областью, которую они хотят осветить, используя свой писательский дар. И — собирают информацию, не всегда правильную, и не всегда добросовестно это делаю. В подтверждение этого: самые интересные книги об авиации, о работе летчика — это книги Сент-Экзюпери — летчика, и Марка Галлая — летчика-испытателя. Правда, бывают очень приятные исключения, например книга Георгия Владимова, рафинированного московского интеллигента, «Три минуты молчания». Это роман о жизни и работе рыбаков на малом промысловом рыболовческом судне, на сейнере. Но он не «собирает информацию», а просто целый сезон, всю путину, проработал на таком сейнере рядовым матросом. И получилась изумительная книга, очень всем советуя почитать.

А мой рассказ как раз о таком собирателе «информации», обо всем хорошо известном Юлиане Семенове.

Он тогда еще молодой был, никому не известный, но уже

такой же заросший черной бородой. Это было где-то в апреле или мае, во время ежегодной Арктической Высокоширотной экспедиции. Я о ней, об этой экспедиции еще буду говорить много, эта тема сама по себе достаточно интересная, пока не скажу только о цели ее. На первый взгляд цель чисто научная — изучение рельефа дна Северного Ледовитого океана. Вот тогда, многие наверно помнят, много шумели об открытии в Ледовитом океане подводного Хребта Ломоносова. Все это верно, но основная то цель всех этих работ была все-таки другая: надо было знать рельеф дна для прохода советских атомных подводных лодок подо льдами океана в сторону Америки. Денег на это, естественно, не жалели. Это было самое оживленное время на арктических аэродромах, особенно на Диксоне. И в это время туда слетается весь «творческий» люд: писатели, журналисты, поэты, художники. Однажды у меня в кабине три дня просидел Михаил Пляцковский, был такой довольно известный в то время поэт-песенник. Многие наверно помнят его песни — «Ищи меня по карте» и песню о Диксоне, помните:

Который день пурга качается над Диксоном,
Но ты об этом лучше песню расспроси.

А почему — у меня в кабине, я тогда летал уже на АН-12 штурманская кабина находится в стеклянном носу самолета сидишь как в прозрачном шаре, во все стороны все видно. Тут еще карты, локатор, интересно. Да еще встретились в Арктике, да в кабине самолета, да над океаном, два типа с типично неславянскими фамилиями, да еще внизу проплывают многочисленные айсберги! Обещал он мне написать еще одну песню об Арктике и действительно написал (кажется об Андерме, это один из наших северных аэродромов), но она не пошла и была забыта. Но он все-таки отблагодарил меня, да как-нечисто подорвал всякую мою веру в любые там по радио «Концерты по заявкам». Прошло уже сколько-то месяцев, и вот однажды я слышу по радио музыкальную передачу, которую ведет Пляцковский, и ведет он ее как концерт по заявкам.

Рассказывает он, как был в Арктике, как летал с полярными летчиками, как много интересного видел, и перемежает свой рассказ песнями, якобы, по заявкам этих самых летчиков. И вот я слышу: — Командир отряда Полярной Авиации, один из старейших полярных летчиков — Яков Яковлевич Дмитриев признался мне, что он очень любит песню «Нежность» в исполнении Кристалинской.

После этого, когда кто-нибудь его спрашивал: — Як Якыч, а вы действительно признались тому типу, что любите нежность? — он бледнел, грохотал кулаком по столу, матерно взлетал до десятого-двенадцатого этажа и с грохотом выгонял из кабинета. Ну, вот, а потом я слышу: — А теперь, по просьбе штурмана воздушного корабля АН-12 Марка Эдельштейна и его второго пилота Виктора Чекалова мы дарим им песню о Диксоне. Вот так. Я думаю, что не надо и говорить, что никто и ничего не заказывал. И, кстати, обе песни — его, тоже способ продвигать свои произведения.

Так вот, вместе со всей этой творческой публикой появился на Диксоне и Юлиан, и сразу начал собирать и записывать «информацию» для повести о полярных летчиках. Кто-то рассказывает, скажем, о том, что вот сегодня обледенели страшно, машина стала тяжелая, управляется с трудом, ну — и так далее. Нам то ясно о чем речь идет, но и он думает, что ему все ясно: раз машина тяжелая, управлять ей становится очень тяжело, значит, летчик должен быть очень физически сильным, с могучими бицепсами... А на самом деле, когда говорят, что машина стала тяжелой и трудно управляемой, то это значит, что лед изменил какие-то аэродинамические формы крыла, фюзеляжа, рулей... и самолет плохо слушается рулей; и именно в этом тяжесть управления, а совсем не в том, что надо прикладывать громадные физические силы. А во что это у него вылилось, — я расскажу чуть позже. Или кто-то, желая повеселить публику, подходит к нему и говорит: — Юлик, а ты знаешь, как здесь на Севере охотятся на нерпу? И начинается,



на потеху окружающим летунам, рассказ о том, что вот нерпа, она очень любопытная, особенно она любит громкую музыку. Поэтому местные охотники — ненцы, чукчи, нганасаны — все прочие, кроме ружья и палатки обязательно берут с собой

патефон и пластинку с маршами. Прорубают лунку, ставят над ней палатку, заводят патефон, и сидят, попивая чаек или спирт. Появляется голова любопытной нерпы, хлоп ее по карбину, и ждут следующую. И еще много, много раз нашей «травли» он наслушается, и все это запоминает, записывает. Мне тоже, кстати, про эту охоту пытались рассказать, но номер не прошел просто по той причине, что я, по аналогии вспомнил, как сам нашим новичкам только что приехавшим на Дальний восток, рассказывал, как ловят уссурийского тигра: идут на тигра троим — один с винтовкой, а двое — с большим фанерным листом и киянкой (это большой деревянный молоток). Когда тигр прыгает на охотников, то двое подставляют ему фанерный лист, тигриные когти протыкают фанеру насквозь, а третий мгновенно загибает когти с обратной стороны киянкой. И так, на этом фанерном листе и несут тигра домой.

И вот через какое-то время в журнале «Юность» появляется повесть Юлиана Семенова «Там, где сходятся меридианы», и там все наши анекдоты, все наши шутки, принятые им всерьез. Там и история о том, как у летчика Струмилова, главного героя, не хватало физических сил держать штурвал обледеневшего самолета, и его держали с трудом в четыре руки летчик вместе с механиком. И история о том, как Струмилинов со своим другом чукчей (видали мы этих друзей...) отправился на охоту с патефоном и все подробности этой «охоты». И много, много еще разной откровенной ахиней, все было принято за чистую монету, и все попало на страницы повести. А

через год он опять прилетел на Диксон, и говорит, что теперь он пишет сценарий по этой повести, интересуется нашим мнением и замечаниями о написанном. Услышав все, что мы думаем и о нем, и о его повести, Юлик бледнел, краснел, обещал все переделать.

В вышедшем через некоторое время кинофильме «При исполнении служебных обязанностей» все наши анекдоты и хохмы были на месте.

Ну и в заключение: был там один молодой журналист — Валера Балтременок. И он мне тогда рассказал, как однажды в ресторане Дома журналистов он сказал Семенову: — Юлик, литературу надо делать, а ты какой-то херней занимаешься, на что получил ответ: — Сначала деньги надо делать, а потом литературу. Так всю жизнь и делал деньги, правда, совмещая это дело еще и с другой работой — в КГБ.

Опять я делаю попытку вернуться к стажировке. Чем она для меня интересна? Представьте себе: за двадцать четыре дня я налетал на самолете ЛИ-2, в экипаже старого полярного летчика Бориса Ракитянского целых сто шестьдесят часов! Вам это, конечно ни о чем не говорит, но — сравните, и сразу станет понятно: за ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ в армии я налетал, включая и училище, семьсот шестьдесят часов! И этого было достаточно для того, чтобы считаться уже опытным штурманом первого класса. Именно — считаться, а впервые я себя почувствовал по настоящему штурманом только после этого месяца стажировки. И еще одно: впервые попал на крайний Север, я за этот месяц увидел столько нового, необычного, интересного, что, казалось, хватило бы на целую жизнь! Мы побывали везде, где только возможно: на Новой Земле и Мысе Желания, на островах архипелага Земля Франца-Иосифа и на Северной Земле, нам пришлось садиться или сбрасывать почту с воздуха на все полярные станции, расположенные на отдаленных маленьких островах в Ледовитом океане, проводить караулы судов во льдах пролива Вилькицкого, — это один из самых

сложных участков Северного Морского пути, он находится между северной точкой материка Евразия, мысом Челюскина, и Северной Землей. Впечатлений столько, что казалось, – вернуться в Москву и буду рассказывать круглые сутки, не закрывая рта. А оказалось все совсем наоборот. Спрашивают: – Ну, как Арктика? – Арктика, как Арктика. Снег, льды, интересно было. От переизбытка впечатлений произошел какой-то ступор, засилье, я ничего не мог рассказать. И только потом, через несколько дней, пошли рассказы об увиденном.

По возвращении в Москву, я получил направление в 3-ю эскадрилью, на самолет АН-2. Да, на маленький одномоторный АН-2, который в народе часто называют – «кукурузник» из-за того, что он используется для опыления и полива полей, возит пассажиров из одного районного центра – в другой. Я конечно, расстроился и поехал в Управление к Флагштурману Аккуратову.

Как, же так, говорю, Валентин Иванович, стажировался на Ли-2, Ил-4, а меня только одного на «Аннушку» сунули, обидно как-то.

А он сидит напротив меня, попыхивает своей трубкой, улыбается: – Поверьте мне, поверьте моему опыту, вам не жалеть, а радоваться надо. Большие самолеты от Вас не уйдут на всех больших машинах Вы еще будете работать; но того, что вы увидите, работая на АН-2, ваши приятели не увидят, и того опыта, который вы получите, они никогда иметь не будут.

– На «Аннушке» Вы всю Арктику, – говорит – на броне излазите, от Нарьян-Мара до Тикси ни одного дома охотника или рыбака не будет, где вы не сидите. На Северной Земле постоянно АН-2 работает. А весной, как экспедиция начнется, в океан пойдете, в район полюса, там ваша машина, это основная сила, на ней вся экспедиция держится: всю основную работу она выполняет. В Полярной Авиации «Аннушка» – машина серьезная! И только позже, с приобретением определенного опыта, я понял, насколько был прав Валентин Иванович!

Прежде чем рассказывать о роли «Аннушки», о том, на что она была способна, я хочу объяснить благодаря чему (как я это понимаю) Полярная Авиация могла выполнять все те задачи, которые она выполняла около пятидесяти лет своего существования в экстремальных условиях Арктики.

То, что я хочу сказать, звучит, наверно, кощунственно для любого авиатора (кроме – полярного), а тем более для авиатора-чиновника, но, тем не менее, – это именно так. Все виды деятельности авиации в Арктике: проводка караванов по Северному Морскому пути, ледовая разведка по всему Северному Ледовитому океану, обеспечение жизнедеятельности полярных станций на островах в океане и дрейфующих ледовых полярных станций «Северный полюс», санитарные рейсы для оказания медицинской помощи, ежегодные Высокоширотные экспедиции и всевозможные геологические и гидрологические экспедиции и многое, многое, многое другое – все это выполнялось только потому, что практически в каждом полете не выполнялись (читай: нарушались) требования НПП, т.е. – Наказания по производству полетов. НПП – это свод законов, регламентирующих каждый шаг летчиков (и не только летчиков) и в период предполетной подготовки, и в полете, и после-полетный отдых, и сколько часов можно налетывать в день и в месяц, и метеосостояние для взлета и посадки, с размерами полосы для взлета и посадки; да все просто невозможно перечислить, именно каждый шаг – строго регламентирован. Любое нарушение НПП жестко пресекается. И это правильно; в авиации говорят: НПП написано кровью. Но все это написано для совершенно других, для «нормальных» условий. Первые десятилетия Полярной Авиации, она входила в систему Главсевморпути и действовала по своим законам, без которых освоение Севера и Северного морского пути было невозможно. А потом, это уже через много лет после Войны, она вошла в систему Аэрофлота (а потом и Министерства Гражданской авиации). На нее стали распространяться все правила и требования

аэрофлотские, но фактически жизнь и работа продолжалась по своим, проверенным жизнью законам. А руководство, руководство смотрело на некоторые «отклонения» от НПП и других «руководящих документов» сквозь пальцы. Они ведь сами через это прошли (да многие из них еще и продолжали летать) и прекрасно понимали, где нарушение чисто формальное, а где — просто недисциплинированность, разгильдяйство. Это — не прощало.

Где-то в середине семидесятых, мой командир Юлий Векслер, мы довольно долго летали с ним на ЛИ-2, был на главной ледовой базе в районе полюса, это — во время ежегодной Высокоширотной экспедиции, (я тогда работал уже на тяжелых АН-12). И в один прекрасный момент льдина лопнула и трещина довольно быстро, под некоторым углом, приближалась к взлетной полосе. РП (руководитель полетов) взлетать кому бы то не было запретил. Ну, а Юлька решил самостоятельно принять решение и спасти самолет (Победителей не судят!). Запустил двигатели и пошел на взлет. И уже в процессе разбега прямо впереди появилась гряда торосов от трения льдины об льдину, и он вынужден был убирать газ, резко тормозить и отворачивать влево от лобового столкновения с торосами. Результат: разбитый самолет и два, кажется, смятых вертолета. Это было концом его летной карьеры. Еще очень легко отделался. Списали — «на полярную специфику». А если строго по законам Аэрофлота, — почти наверняка пошел бы под суд. А вот другой случай, можно сказать, обратный. Я о нем рассказывал в одном из очерков. Вылетали мы полную дневную санитарную норму, вылетали и полную месячную сан. норму, отработали часов двадцать — это значит, что не только в этот день, но и до конца месяца мы НЕ ИМЕЛИ ПРАВА подниматься в воздух. И никто, вплоть до министра, НИКТО не имел права приказывать нам лететь до первого числа следующего месяца, а до конца месяца оставалось еще три дня. Но вот случилось: на Земле Франца Иосифа, в полутора тысячах километров от Диксона, где мы находились, умирает

от перитонита солдат, и нам приказывают вывезти его на Диксон для срочной операции. У нас и в мыслях не было — отговариваться тем, что мы налетали, мы перелетали, мы не имеем права... И через четыре часа после посадки мы опять были в воздухе, несмотря на то, что и погода, и прогноз были хуже всяких норм; и этот рейс продолжался еще двое суток. А всего — трое суток без сна и без отдыха! Нарушение на нарушение! Но солдата спасли. И за все эти безобразия мы получили благодарность от Марка Ивановича Шевелева, начальника Полярной авиации.

Ну, кажется, — мне удалось пояснить свою мысль и теперь не будет вызывать большого удивления дальнейший мой рассказ о работе на нашей «Аннушке».

Пришел я в эскадрилью, представился, а командир, Брыкин Василий Иванович, как будто специально меня ждал:

— Вот ты то мне и нужен. Собирайся, и завтра пассажиром в Хатангу, а там тебя ждет Козлов Дмитрий, он там без штурмана сидит, загорает, а работы — навалом.

Утром я вылетел на Диксон на нашем ИЛ-14, ледовом разведчике.

Этот полет мне запомнился из-за того, что вместе со мной летел по каким-то делам Лев Миронович Рубинштейн. Выше я уже писал о нем, один из наших корифеев-штурманов. Все шесть часов полета я, развесивши уши, слушал его. Но вначале я задал ему один вопрос:

— Лев Миронович, скажите мне, пожалуйста, как я попал в эту систему?

— Шестеренка у них, сволочей, какая-то не сработала.

Много я узнал тогда интересного, но одну историю я должен рассказать уже, конечно, своими словами.

В Полярной Авиации никогда не было антисемитизма. Даже в самые страшные годы «борьбы с космополитизмом», во времена «дела врачей» у нас было спокойно, никого не трогали. Уволили только одного человека — его. Ну, он был чело-

век известный, самый известный еврей во всей нашей системе, и вот его и уволили. Без работы Лев Миронович не остался: по образованию он был астроном (в Учебном отряде он в мое время, уже закончив летать, преподавал Авиационную астрономию) и устроился работать в Астрономический институт им. Штернберга. Больше всего его беспокоило то, что его семья жила в служебной квартире, и в любой день им грозило выселение, а что это значило для москвичей в то время, могут понять только люди старшего поколения: это было, можно сказать, почти смерти подобно. И вот, примерно через полтора года, он получает открытку с просьбой – явиться к Начальнику Полярной Авиации тов. Марасану.

Ну, все, крышка нам! Глотая горстями таблетки валидола, идет в Управление, заходит в приемную. Секретарша увидела его:

– Заходите, Лев Миронович, здравствуйте, садитесь, пожалуйста, сейчас я доложу товарищу Марасану.

А он злится: еще издеваются, уж убивали бы сразу. Глотнул еще пару таблеток и заходит в кабинет. А Марасан еще пуще «разливается»:

– Здравствуйтесь, дорогой Лев Миронович. Как Вы поживаете? Как ваше здоровье, как жена, где работаете? А летать хочется?

Он думает: – Убил бы, гада, еще поизмываться хотел, и приступал бы скорей к главному; а может ему самому неудобно начинать разговор о квартире, вроде был когда-то порядочным человеком! А Марасан подошел к нему, сидящему, положил руку на плечо:

– Лева, неужели ты мог подумать, что я по своей воле подписал тот приказ!? Разве от меня что-то зависело! Но вот сейчас, как только обстановка начала меняться, первое, что я сделал, это – послал тебе приглашение. Давай – увольняйся из своего института, оформляйся, и через неделю с Ильей Павловичем (Мазуруком) на стратегию («стратегическая» ледовая разведка, т.е. по всему Ледовитому океану; это самый высший класс штурманской работы).

Продолжение этой истории было уже веселым. Возвращаясь, по окончании работы в Москву (это было где-то в районе Тикси, т.е. примерно в четырех тысячах километров от Москвы) Илья Павлович Мазурук начал подшучивать над Рубинштейном:

– Ну что, Левушка, забыл наверно Арктику-то маленько, а?

– Да ничего я не забыл.

– Забыл, забыл, многое, наверно, забылось.

– Ну, вот что: спорим на вечер в «Метрополе» для всего экипажа – лечу до Москвы без карты. Согласен?

– Давай, согласен!

Ну, выиграл он, конечно, пари, и весь вечер «гудели» всем экипажем в «Метрополе».

Когда я услышал окончание этой истории, я, с моим младенческим опытом, был потрясен: как это так, без карты, такое громадное расстояние, это просто невозможно! Я, конечно, верил Льву Мироновичу, но это казалось мне чем-то сверхъестественным!

Прошло что-то порядка восьми лет. Позади были АН-2, ЛИ-2, ИЛ, я работал уже на АН-12. И вот однажды подлетая к Тикси по дороге в Москву, я вспомнил эту историю, рассказал ее экипажу и подумал, что могу сейчас, пожалуй, сделать то же самое. Отдал радисту портфель с картами, справочниками, схемами, оставив себе только борту журнал, карандаш и логарифмическую навигационную линейку. И – ничего, долетел. Оказывается, имея определенный опыт – ничего сверхъестественного.

Опять я отвлекся: все – воспоминания, воспоминания, и никуда от них не денешься. Но, в общем-то, на них и построен весь мой рассказ.

Подлетая к Диксону, я передал через радиста радиogramму в Хатангу для Козлова, моего командира, что на Диксоне я застряну на сутки в ожидании рейсового самолета. Через пятнадцать-двадцать минут радист зовет в кабину и показывает ответную радиogramму: «Вылетаю немедленно. Через пять часов буду на Диксоне. Козлов». Прилетает, познакомились, и

сразу: — Давай собирайся, поехали. Три дня бездельничаем, а работы — навалом, вся геология стоит. В воздухе рассказал мне о создавшейся ситуации. На Таймыре много лет работает большая геологическая экспедиция Ленинградского НИИ ГА (геологии Арктики) с центром в Хатанге. Сейчас как раз начало полевого сезона. Каждый день на счету, север ведь; геологи собрались, надо их развозить по точкам, а экипаж не может работать: три дня нет штурмана (я уж не помню по какой причине). Поэтому, говорит, я и примчался за тобой, чтобы день не терять.

Сразу по прилету иду в балок к Ларионову, начальнику геологической партии, за заданием на завтра. Вот, опять приходится отвлекаться: а что такое — балок? А балок, это такая времянка, ну, что-то вроде наших караванов, только более примитивное и без всяких «удобств», вроде водопровода, не говоря уж о чем-то еще. Спрашиваю о завтрашней работе. Надо, говорит, первым делом отвезти группу Рогозина. При этом берет мою карту и ставит карандашом точку. Смотрю — точка эта в горах, ну просто — в горном массиве! И там надо сесть на самолете! Черт-те что! Прихожу в гостиницу, говорю командиру: — Вот, Дима, надо сюда группу высадить. А сам жду: какая его реакция будет. А никакой реакции! Посмотрел он на карту вполне равнодушно: — Ну и ладно, — говорит, — начинаем работать. Я в полном недоумении, но молчу.

Утром завтраги, курс на север Таймыра. Вначале под нами километров около двухсот тянется тундра с сотнями озер, потом горы Бырранга пошши. И вот в этих горах нашел я нужную точку и вижу, что нет там, конечно, никакой площадки, пригодной для посадки. Жду, что будет дальше. А командир мне говорит:

— Вот, смотри: видишь вон там долина между горами. Речку видишь? Вот сейчас там и посмотри.

Узкая, глубокая долина, как ущелье. По глубокой спирали снижаемся, горы слева и справа на несколько сот метров выше нас. По дну ущелья протекает речушка и в одном месте на изгибе ее, небольшая песчаная коса длиной сто пятьдесят

двести метров. Проходим пониже, чтобы посмотреть нет ли больших камней, и заходим на посадку. Самолет трясет как машину по булыжной мостовой на большой скорости, галька из-под колес веером во все стороны. Какое там НПП, какие там «Руководящие документы»!

Вот так началась моя работа в Арктике.

Весь короткий летний сезон мы проработали на Таймыре вот на такой работе, в основном — с геологами: вывозили группы на точки, перебрасывали их, при необходимости, с места на место, что-то доставляли им, вывозили заболевших. В общем — обеспечивали их работу всем необходимым. Где мы только не сажались! На горных плато, на берегах горных озер, на речных песчаных косах. И все это — на пределе возможного. А что делать? Остановить всю геологоразведочную работу? А ведь Таймыр невероятно богат своими недрами; как говорится — «вся таблица Менделеева» и даже больше. Нашли даже алмазы. А недалеко от Хатанги, километрах в ста пятидесяти, есть небольшая гора Одихинча; так вот она ВСЯ состоит из чистой слюды! Кто слышал про такое? Увесистый кусок этой горы у меня лежал дома несколько лет, а потом он начал расслаиваться на сотни тончайших слюдяных слоев.

По окончании полевого сезона, очень короткого на Севере, с наступлением холодов, вывозили все группы в Хатангу. И тут произошла одна история, которую я никогда не забуду. Я увидел чудо.

Мы вывезли уже почти все группы, осталась только одна. Но к ней мы, почему-то долго не могли вылететь. Мне трудно сейчас, по прошествии сорока лет, восстановить причину: то ли была какая-то очень срочная работа, то ли подломались где-то и ремонтировались, то ли погоды не было, а может быть — все вместе. Но как бы то не было, а смогли вылететь к ним только через две недели после условленного срока. А у них там и питание, и соларка, и газ на исходе, а температура уже минусовая, снежок. И радиосвязи с ними нет. Представляете

себе ситуацию? Ну вот.

Приходим на точку, а там — никого, следы лагеря, газовый баллон стоит, канистры из-под солянки валяются. Значит — не дождались, решили спастись своими силами. Ну, а куда они могли пойти, в какую сторону? Только в сторону мыса Челюскина: там — аэродром, полярная станция. Там — живые люди! Но до Челюскина около ста пятидесяти километров. Прикинул я по карте их предполагаемый маршрут (в зависимости от рельефа, еще не замерзших озер) и пошли мы их искать. Нашли мы их минут через сорок. Покружились над ними, сели неподалеку, подруливаем к ним. Нагружены они как верблюды: громадные рюкзаки со спальными мешками, палаткой, одеждой (не бросили!), приборами. У женщины в рюкзаке (Забыв сказать, что группа состояла из четырех человек, и в том числе одна женщина — начальник группы) в мешочке остатки сухарей, одна труха, килограммов около двух, это единственное, что у них оставалось и чем они питались последние два дня. Шли они уже пять дней. Это все они рассказали уже в воздухе. Тут же мы включили обогрев на всю мощь, организовали горячий крепкий кофе, покушать. На что они были похожи!! Прокопченные от костров, неделю не мывшиеся, почерневшие, смертельно уставшие, до предела намерзшиеся, это надо увидеть! А женщина — это бесполое и без возраста существо с черным от копоти и мороза лицом, в бесформенных ватных брюках и ватнике. Жутко смотреть! И вот, когда они отогрелись немного, выпили горячего, я вспомнил, что у меня для них есть письма. Раздал, в том числе и женщине письмо. Она читает его, а потом достает из конверта фотографию. И вижу чудо: это чучело вдруг на моих глазах почти мгновенно превращается в молодую сияющую красавицу! Чтобы описать это — надо быть поэтом, у меня не хватает слов для того, чтобы описать это превращение! Она, перехватив мой взгляд, протянула мне фотографию. Смотрю, а там — мальчик, лет трех, с длинными светлыми волосиками, сыночек!

Ну, и, наконец, чтобы распрощаться с Таймыром, не могу не рассказать еще одну историю. Эта история является и ответом на много раз задававшийся мне вопрос о самых, самых страшных случаях в моей почти сорокалетней летной практике. Это и был, пожалуй, один из самых, самых. Но только я избегаю в этих случаях слова «страшный», лучше сказать — опасный. Дело в том, что если ситуация, случившаяся в воздухе, не является абсолютно безвыходной (ну, например, что могли сделать летчики в сбитом украинской ракетой российском самолете над Черным морем?), то любой летчик-профессионал в случае какой-то очень опасной ситуации (сейчас говорят — нештатной ситуации, но это с космических времен пошло, а мы этих слов тогда не знали) продолжает работать, но только с более обострившимся чувством мгновенного поиска правильного, единственно правильного решения и действия для выхода из этой ситуации.

А страх — он может только парализовать и вряд ли летчик, охваченный страхом, может выйти живым из опасной аварийной ситуации.

Никогда не забуду как в 1952-м году, я только приехал в Приморье после училища, на моих глазах падал в штопоре истребитель. Сам по себе обычный штопор не страшен, но он, по-видимому, перешел в плоский штопор, а из него самолет выводится очень плохо, а некоторые типы машин из плоского штопора вообще не выходят. Видимо — это был тот самый случай. Но летчик боролся до конца, до самой земли! А судили мы об этом по тому, что, то было тихо, то взывал мотор на полную мощь, то — опять тихо: он пытался вывести не только рулями, но и газом, был такой метод.

И так — до самой земли, до взрыва! В страхе человек так работать не мог!

А теперь о самой истории. Обычно, когда мы читаем, или видим в кино, или слышим о какой-то сложной аварийной ситуации в воздухе, то нам представляется — большой самолет

летит где-то очень высоко, пассажиры спокойно спят, а тут вдруг пожар, отказ двигателя или управления, разгерметизация, взрыв, или что там еще может быть. А потом летчики, по очереди, вылезают ЧЕРЕЗ ДВИГАТЕЛЬ (!!!!) навстречу воздушному скоростному потоку – как минимум пятьсот километров в час – и заклепывают трещину на фюзеляже! Помните: был такой фильм, забыл его название, там прекрасный актер, Жженов, играет командира корабля?

А у нас все было проще и никаких героических подвигов: небольшой одномоторный АН-2, скорость всего сто тридцать – сто сорок километров, никаких неисправностей, а высота, на которой все происходило, была всего ТРИДЦАТЬ – ПЯТЬДЕСЯТ метров. И, тем не менее, это был, пожалуй, самый – самый за всю мою авиационную жизнь.

А дело было так. Мы пришли на озеро Таймырское, а туда нам надо было лететь на речку Фадьякуда (на всю жизнь я это название запомнил), в устье этой речушки находилась центральная полевая база геологов.

Фадья, как мы ее звали, впадает в Верхнюю Таймыру, которая, в свою очередь, впадает в озеро Таймырское, и вот по этой Таймыре мы и шли от озера. Идем мы спокойно над этой извилистой речкой на небольшой высоте, под нижней кромкой облаков, и остается уже километров пятьдесят до нашей Фадьи. Эта речушка проходит по горному ущелью; приближаясь к устью, ущелье расширяется до нескольких километров, превратившись в долину с довольно ровной поверхностью, которая перед самым впадением в Таймыр, опять резко сужается, оставив только узкий проход между горами шириной метров двести. Горы с обеих сторон высотой четырехста – шестисот метров. И вот в этот проход мы должны нырнуть. А там, в долинке, знакомая нам посадочная площадка, освобожденная от валунов, камней, кустов. Там база, есть радист, с которым мы держим связь.

И тут облачность начинает довольно резко понижаться и

прижимать нас к земле. Идем на высоте сорок – пятьдесят метров; видимость внизу хорошая, но из-за очень малой высоты обзор плохой и, чтобы не просмотреть устье Фадьи, идем над руслом реки, повторяя все ее изгибы. А я, чтобы не потерять свое место, не отвожу острие карандаша от карты, по миллиметру двигаясь по изгибам речки вместе с самолетом:

– Смотри, Костя, остался один изгиб, сейчас выйдем из разворота, чуть пройдем, увидим Фадью и по ней резко вправо. Вот, подходим, приготовились... поехали разворот!! Ныряем мы по ручью в этот проход и попадаем – в густой туман! И вот – представьте себе ситуацию: вокруг нас горы, которые мы не видим, выйти – невозможно, под нами временами мелькают валуны, кусты, т.е. сесть тоже невозможно – верная катастрофа, набирать высоту, не видя окружающие нас горы – то же самое. А самолет не стоит, он летит, но куда? Я ору:

– Пашка, нажатие!!!! А он – нет связи, не отвечают!

Закон подлости – он ведь всегда наготове!

Тут я немного отвлекусь, чтобы объяснить что такое «нажатие» и для чего оно нужно. На всех аэродромах стоят приводные радиостанции, настроившись на частоту которых, радиокompас на самолете указывает направление на эту станцию. Ну, а как выйти на полярную станцию, находящуюся на каком-то крохотном острове в океане, да еще ночью или в облаках? При подходе к точке, когда остается до нее несколько десятков километров, штурман включает радиокompас, настраивает его на частоту наземной станции, а радист требует: нажатие! Наземный радист нажимает на ключ и держит его в нажатом состоянии несколько секунд, т.е. работает в это время как приводная радиостанция.

Ну вот, а мы несемся куда-то, запертые как в клетке горам, до чертиков в глазах глядяваясь вперед, и чувствуем, что вроде бы темнеть чуть-чуть начинает: к горам приближаемся, разворот с креном чуть не под 90 градусов и несемся в другую сторону. А связи все нет, а значит и нажатия нет, а значит и

направления нет. А тут опять темнеет... В общем – продолжалась эта совершенно ужасная ситуация минут двадцать. Было ли страшно в этой, действительно страшной, ситуации? Ответ один: если бы нам было страшно, т.е. если бы мы думали о страхе в те минуты, то я бы не писал сейчас эти воспоминания. Правда, когда, наконец, появилась связь, и радист на земле дал нажатие, и я, зная направление на посадочную полосу, свой курс и направление посадочной полосы, смог, наконец, построить посадочный маневр и Костя Карагодин посадил машину, вот тут мы поняли – чего нам это стоило: после посадки никто из нас не сдвинулся с места, все, не сговариваясь, закурили и, молча, сидели, поглядывая друг на друга: КОЖА. НЫЕ куртки у всех были в больших темных влажных пятнах а сигареты между пальцами мелко подрагивали...

Кстати – о Косте Карагодине, моем командире в тот период. Он был постарше меня лет на пять, хороший летчик, отличный парень, мы жили с ним душа в душу. Я хочу рассказать только об одном его увлечении. Костя говорил так: – Если бы я прочитал больше трех книг в своей жизни, то я бы давно уже был – и при этом он подносил указательный палец правой руки к виску, вращал им и выдавал звук – что-то вроде – т-ц-ц-ц! Но при этом он был страстным любителем разгадывать кроссворды. Однажды я подарил ему книжку, довольно толстую, кажется она называлась – «В субботний час» там было штук сто пятьдесят кроссвордов. Так лучшего подарка, я думаю, он в своей жизни не получал.

Но как он их разгадывал!! Для него было главное, чтобы по буквам сходилось, а остальное – ерунда. Вот сидит он, молчит над очередным словом, наконец, не выдерживает: – И кто знает духовой инструмент из шести букв? Кто-то из нас не поднимая глаз от книги, бросает – барабан.

– А, точно, ба – ра – бан, нет, одна буква лишняя!

А один случай был, ну – это уж просто классика, специально такое не выдумаешь. Сидим мы как-то в своей комнате

кто – читает, кто – в шахматы играет, и вдруг входит взволнованный Костя (он жил тогда рядом в одиночном номере): – Ребята, помогите, вот точно знаю, но одна буква лишняя, может – они ошиблись там, я точно знаю, а одна, вот, буква...

– А какой вопрос, Костя?

– Да вот – наука, изучающая литературу.

– Ну, и что ты точно знаешь?

– Вот точно знаю: АНТРИПОЛОГИЯ, но одна буква лишняя!

Да, вот еще две истории, очень неприятные, случившиеся у нас с Костей Карагодиным. Почему все с ним? Да просто потому, что мне с Костей довелось летать больше, чем с другими командирами.

Оба эти случая характерны там, что при создавшихся непростых ситуациях, от нас, практически ничего не зависело, ну, скажем – почти ничего, больше оставалось – ждать и надеяться на нашу Аннушку и на Всевышнего. И в обоих случаях они не подвели.

Мы вылетели с мыса Челюскина (это самая северная точка нашего материка) в Хатангу, это где-то километров четыреста. Надо было пройти над горами. При подходе к горам мы подобрали высоту, и сразу попали в очень интенсивное обледенение. Включили антиобледенительную систему, т.е. пустили спирт на винт и лобовые стекла пилотов, а больше на АН-2 и нет ничего. Хорошо было видно, как нарастает лед на передней части крыльев и на расчалках, представляющих собой широкие стальные ленты, стягивающие слева и справа от фюзеляжа крест накрест верхние и нижние крылья. И вдруг мы слышим резкий звенящий звук откуда-то справа и видим лопнувшую расчалку. Прямо скажем – неприятное ощущение! Через минуту лопается вторая, уже – слева. Ну, и что нам оставалось делать, кроме как немного уменьшить скорость для уменьшения нагрузки на крылья и оставшиеся расчалки, закурить и ждать, когда пройдем горы, и можно будет начинать потихоньку, без всяких резких эволюций снижаться для выхо-



Гурий Амундсена на мысе Челюскина

да в более высокие температуры, что мы и сделали. Так и шли до Хатанги, поглядывая с опаской на крылья: как они себя ведут. Потом мы узнали, что даже при всех лопнувших расчетах, при нормальном полете без больших перегрузок крылья должны были выдержать. Но тогда-то мы этого не знали!

А второй случай произошел над Карским морем. Мы летели с Диксона на Северную Землю. Расстояние от Диксона до аэродрома на острове Средний, куда мы шли, семьсот пятьдесят километров. И вот где-то примерно посредине маршрута вдруг — «зачихал» мотор. Один, второй, третий раз... Представьте себе ситуацию — под нами море, до ближайшего берега минимум более ста километров, а мотор-то только один у нас, на Аннушке! И в любую секунду он может отказать. Ну что тут оставалось делать? А — ничего, продолжать полет и все время выискивать — на какую льдину можно попробовать дотянуть в случае отказа мотора. Надо сказать — мотор на АН-2 был очень надежный, — и это был какой-то редчайший случай.

Но нам от этого, в те минуты, было не легче.

Мне тут вспомнилась одна очень давняя история, наверно что-то общее есть. Это было в 1943-м или 44-м году, в городе Орск, где мы жили тогда в эвакуации. Я со своим другом, Толей Борисовым, отправился куда-то в далекую лыжную прогулку за город. И вот, отойдя несколько километров от города, мы вдруг увидели в поле много крупных волчьих следов (а может быть — принятых нами за волчьи, но мы-то были уверены!) Стало страшно — что делать? И ответ кому-то из нас пришел в голову немедленно: у нас же в рюкзаке бутерброды с колбасой, запах которой может привлечь волков. Значит, их надо немедленно съесть! Мы их тут же слопали и, успокоенные, продолжали свой путь: теперь волки нас не учуют.

Ну, воспоминания — воспоминаниями, а наступает весна, и с ней начинается самое горячее время: подготовка к «выходу на лед», к ежегодной Высокоширотной экспедиции. Сейчас я расскажу, что это такое.

Цель этих экспедиций — изучение и нанесение на карты рельефа дна Северного Ледовитого океана, прежде всего — его приполярных районов. В газетах много писали о великом научном значении этой работы: вот, например, открыли подводный Хребт Ломоносова. Ура!!! Новый успех Советской науки! Оно конечно: наука — наукой, но не надо забывать, что кратчайший путь в Америку проходит через Ледовитый океан, через Полос. Не зря Леваневский, Чкалов, Громов летели именно этим путем.

Кстати говоря, мало кто слышал, что их знаменитый самолет АНТ-25 имел еще два названия: заводское — РД (Рекорд дальности) и военное — ДБ-1 (Дальний бомбардировщик). Для успешного полета через океан экипажу нужно знать погоду. А экипажу атомной подводной лодки, идущей в том же направлении что нужно знать? Правильно, рельеф дна. Вот мы и добрались до основной цели всей этой работы. Кстати, одним из руководителей этой работы многие годы был крупный ученый

-полярник профессор Челенджаров, который подобно многим другим бывшим профессионалам в своих областях: науки, искусства, техники, бросился в политику (им, видимо, в своем деле уже больше сказать нечего), и его вместе с его черной окладистой бородой гораздо чаще можно увидеть по телевизору в Думе, чем в Арктике. Оно и понятно: место-то более теплое.

Ну, да ладно, в то время Челенджаров для нас еще был великим авторитетом. И вообще, какое нам до него дело, у нас свои заботы: мы готовимся к вылету на три – три с половиной месяца в экспедицию, на лед, в район Полюса. У каждого свое занятие, бортмеханики тщательнейшим образом проверяют и готовят к долгой работе самолеты и двигатели, радисты готовят свое оборудование. А мы, штурманы, на несколько дней отправляемся в УТО, на занятия. В первую очередь это астрономия, астрономические определения, которые имеют большие особенности в приполярных районах. Потом – подготовка и проверка карт, подготовка всевозможных астрономических таблиц, выверка секстантов и много чего еще.

А потом надо подготовить свое личное снаряжение и дополучить недостающее. Нет, это я должен все перечислить, чтобы вы немного представляли себе, как снаряжались в наше время в полярную экспедицию. Итак, начнем: кожаный костюм, костюм КЭ (костюм экспедиционный, очень легкий и очень теплый), пальто меховое, унты меховые и унты (это меховые же носки), меховые – шапка и рукавицы, свитер, спальный мешок из собачьего меха и вкладыш к нему (это, по сути, тоже спальный мешок, но тонкий, стеганный, из гагачьего пуха). И наверно я много еще чего забыл, по мелочам. И тут я просто не могу обойти одну смешную историю, которая повторялась, впрочем, не один раз при подготовках к экспедициям. Я как-то сомневался: рассказывать ли ее, но потом решил, что из песни слова не выкинешь. Командир экипажа Александров Василий Иванович (такой же хохмач, как и его знаменитый тезка) накануне вылета спрашивает у своего вто-

рого пилота, молодого парня, недавно пришедшего к нам из армии и первый раз идущего «на лед»:

– Коля, ты все свое снаряжение получил? Ну-ка перечисли все!

– Да все получил: спальник, костюм, КЭ, унты...

– Так, так, так,...вроде все... А нам...ик меховой где?

Парень краснеет, не понимает – шутка это или всерьез, как реагировать...

– Да ты что, да я завтра тебя не возьму с собой, да ведь ты только полгода, как женился! Ребята, (это он уже к экипажу) наш Коленка не знает, что там минус пятьдесят бывает, отморозит все свое хозяйство, а нам отвечать потом перед его молодой женой! А ну пошли к Командиру отряда!

Это было в штабе отряда, в Шереметьево. Идут они, а Коля никак в себя прийти не может: то ли шутят над ним, то ли... Приходит к Дмитриеву: – Як Якыч, что делать не знаю: мой дурачок забыл нам...ик получить. Ведь только женился, выгонит его жена, жалко парня!

Командир отряда смотрит на часы:

– Да, скоро рабочий день кончается. Ну, ладно, садись на мою машину и быстро в Захарково, (это был наш аэродром, доживавший последний год, отсюда мы вылетать должны были, и там были все наши склады). А я позвоню Агабекову, чтобы задержал там всех.

Парень несется в Захарково в полном смущении: вроде бы вначале принял за шутку, а тут все всерьез поворачивается, а Агабеков – большой человек – Начальник Материально-технического снабжения Полярной Авиации.

Агабеков уже ждет его:

– Давай быстро пиши рапорт на мое имя: прошу вас выдать недополученный мной нам...ик меховой, один. Так, подпись, да-та. Давай, подпиши и бегом в бухгалтерию, а то они там уже уходить собираются. Только тебя ждут, и на складе тоже.

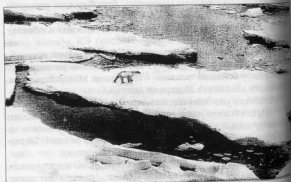
И тут наш Коля, уже абсолютно уверенный, что все нормально, врывается в бухгалтерию с бодрым криком: – Девочки, вот рапорт,

быстренько выпишите мне один меховой намудничек!

Ну, и все девчонки там конечно под столы от хохота покатились.

Накануне вылета привезли на свои самолеты рюкзаки с одеждой, спальные мешки, личные вещи, погрузили палатку, аварийную радиостанцию, НЗ (неприкосновенный запас пищи), газовую плитку с баллоном, карабин, еще чего-то там, я уж не все и помню. В общем — маленькие наши «Аннушки» были забиты до отказа.

И вот на другой день все собрались на аэродроме и, получив напутствие Командира отряда: — Смотрите там у меня — в «Север» — ни-ни! — стали запускаться, и постепенно вся армада наша взлетела и потянулась на север. Ночевка в Архангельске, на старом нашем аэродроме Талаги. Сели, разместились в гостинице, привели себя в порядок, и отправились, куда бы вы думали? Ну, конечно — в центральный архангельский ресторан «Север»! Часть экипажей уже была там, они пораньше сели, часть пришла чуть позже. Но факт тот, что в ресторане собрался, конечно, весь отряд. И Як Якыч со своим командирским экипажем конечно тоже.



И самое удивительное совпадение в том, что почему-то ресторан именно в этот день был закрыт по какой-то причине для всех остальных «народов». Стало быть, директор заранее знал, что мы ни-ни!

Через день добрались до Диксона. А в это время два ИЛ-14 с опытнейшими экипажами ледовых разведчиков в заданном приполярном районе океана искали подходящую льдину для размещения главной базы экспедиции. Эти поиски могли продолжаться и дней пять, и неделю, и, бывало, до двух недель. Эта льдина ведь должна принимать не только наши АН-2 и вертолеты, но и тяжелые АН-12, а это значит, что она должна удовлетворять многим требованиям, а такую найти непросто.

А народ в ожидании этого «расслабляется» как может перед тяжелой трехмесячной работой. А делать-то больше и нечего, как ждать. У нас с собой было, да и магазин недалеко. В общем — это бывают веселые дни.

А потом молния по всей гостинице: нашли льдину! Экипажи собираются в «Зале Чайковского» — под этим названием у нас была самая большая комната: в ней вместо трех-четырех кроватей, как в обычной, стояло целых четырнадцать. Валентин Иванович Аккуратов сообщает точные координаты льдины: широта..., долгота..., размеры и толщину. Борт такой-то ждет нас на льдине, на такой-то частоте будет давать нажатие, выводя «на себя». Наземные техники готовят машины, экипажам отдых до... и через два часа после подъема — вылет. Бац! Бац!

На базе первым делом надо готовить взлетно-посадочную полосу для тяжелых АН-12, которые немедленно начинают прибывать с сотнями бочек горючего, с продуктами, палатками, досками и сборными домиками, радиооборудованием, везут даже сено и оленьи шкуры для наших палаток, в общем все необходимое для жизни и работы нескольких сотен людей и нескольких десятков самолетов в течение трех месяцев.

И началась работа. Каждый день, если погода позволяла, вылетали и делали по шесть-восемь, а то и десять-двенадцать первичных посадок на дрейфующие льдины. На каждой точке

измерялась глубина и, конечно, точные координаты. И так пока силы есть, а потом — на базу, на почевку.

И так день за днем, день за днем.

А потом наступил праздник 1 Мая — День Международной Солидарности Трудящихся. (Почему-то даже люди старшего поколения не помнят, что этот праздник раньше назывался «День Смотра Боевых Сил Рабочего Класcа»). Помните — был такой французский фильм — «Мужчина и женщина»? Это история распада семьи. Первая серия — глазами мужа, а вторая — глазами жены, т.е. — как было на самом деле. И вот я вам сейчас расскажу, как этот праздник показали киношники в киножурнале «Новости Дня», и как оно было на самом деле. Кто-то мне сказал, что вот, мол, в таком-то кинотеатре, перед таким-то фильмом идет журнал «Новости Дня», и в том журнале и я просматриваюсь. Любопытно взглянуть!! Пошли мы с Ниной. И вот видим: Праздничная демонстрация на Северном Полюсе! Ледяной торос превращен в трибуну, красные плакаты, гирлянды, портреты! А мимо трибуны колонной идут летчики, все в мехах и поют. Прекрасно, слаженно поют какую-то революционную песню. Между ними и я с портретом или флагом в руках.

А дело было так: накануне, тридцатого апреля, мы все закончили работу пораньше, слетелись на базу, и был устроен праздничный банкет в ресторане «Голубой Дунай» (это большая палатка-столовая), хорошо выпили и разошлись по своим палаткам, где, прежде чем залезть в спальники еще добавили Утром (это только по часам, а солнце не заходит, все время светит) замполит Бувенич (хоть и замполит, хоть и Бувенич, мужик был неплохой) бегае по палаткам и орет:

— Подъем! На демонстрацию!!!

Какая еще демонстрация?! Ну, встали кое-как, похмелились, кто хотел (я никогда в жизни не похмелялся), поджарили на газовой плитке по паре шницелей и помаленьку начали выбираться из палаток. А там уже замполит, парторг, комсорг вся эта кодя бегает с портретами, флагами, лозунгами, на все это в руки всовывают, в колонну выстраивают и еще усе

варивают спеть какую-нибудь песню. И вот представьте себе картину: идем мы, еще не протрезвинившиеся как следует, еще не проснувшиеся, держим флаги. А впереди идет командир корабля Леша Ляхов и запевает на мотив известной строевой песни — Пусть далек у нас с тобою/ веселей солдат гляди/ вьется, вьется знамя полковое/ командиры впереди/ солдаты в путь.

А запевает он так:

Сами самогонку гоним,

Сами самогонку пьем,

А мы все хором подхватываем:

И кому, кому какое дело,

Где мы дрожжи достаем.

Пилоты, в путь! В путь!

И для тебя, родная... и т.д.



Апрель 1964 года.
Ледовая база «Север-66»

А киношники все это снимают, а потом накладывают на нас хор Александра, и получилось о-го-го! — как хорошо!

В один прекрасный день окончили мы работу, возвращаемся на базу, и уже при подходе к ней нам говорят по радио:

— Ребята, повнимательней, льдина лопнула, трещина прошла через полосу. АН-12 возвращается, а вы смотрите, где сесть лучше. Ну, для нашей «Аннушки» много ли места надо! Я тут же достал свой фотоаппарат и сделал с

воздуха хороший снимок. Хорошо видна трещина, расколовшая льдину пополам, проходит она прямо через взлетно-посадочную полосу. И еще на снимке хорошо виден наш «Голубой Дунай», разорванный пополам: одна половина по одну сторону трещины, а другая – по другую. Этот снимок у меня сохранился.

Если уж зашла речь о фотографиях, не могу не вспомнить еще об одном снимке и связанной с ним истории. Работали мы как-то на Диксоне. И вот услышал я, что села какая-то наша «Аннушка» с одним оббитым крылом. Я схватил аппарат и бегом на стоянку.



Вот в таком состоянии наша «Аннушка» шла 500 км. со льдины на Диксон

И вижу – действительно стоит самолет, а половины правого нижнего крыла нет, оторвано! Защелкал я аппаратом, а потом стал интересоваться тем, что произошло, пошел в гостиницу, в комнату этого экипажа. И застаю там только второго пилота – Макса Евсеева. Он уже «набрался» и спит, не раздевшись, а в откинутой руке еще дымит сигарета. Вижу, что будет великолепный снимок, но темно в комнате, а подсветки нет никакой. Что делать? Поставил я аппарат на штатив, прикрепил спусковой тросик и начал делать снимки с возрастающей выдержкой: секунда, две, три, пять – авось что-то получится!

И, представьте себе, получились прекрасные фотографии!

Что же произошло у этого экипажа? А они сажались где-то налед, километрах в четырехстах пятидесяти от Диксона, и на пробеге зацепили крылом за торос, и оторвали его, крыло есть. Ну, что делать? Сообщили на Диксон, оттуда отвечают – ждите. А сколько ждать, день, два, три? И чего ждать? А пого-

да ухудшается, и прогноз плохой. И тут мысль появилась, дикая мысль: а если попробовать, благо впереди ровный лед на пару километров, оторвемся на метр-два и посмотрим: будет машина держаться, или нет; ничего, держится, давай – поднаберем еще немного, впереди – ледяные поля на километры тянутся, в случае чего сможем подсесть. А машина летит, правда кренит немного, но с этим можно бороться. Переглянулись: – Легим? – Легим! И поехали! Если бы не было у меня этого снимка самолета, и не разговаривал бы я сам с этими ребятами, то наверно и не верилось бы, что такое может быть.



«Переобуваемся на Диксоне», апрель 1965 г.

... Опять весна, подготовка к очередной экспедиции. Но на этот раз наш экипаж будет работать отдельно от всей нашей «армады». Мы будем работать с гидрологической экспедицией, исследующей многочисленные проливы между островами архипелага Северная Земля. Много лет эту экспедицию возглавляет Иван Иванович Чевыкалов. Все начинается как обычно: подготовка, предвылетные хохмы, ресторан «Север», но на Диксоне мы не засиживаемся, а переночевав и переобувшись с колес на лыжи, вылетаем на Северную Землю, на остров Средний, в аэропорт того же названия. Там последняя ночевка перед перелетом на базу экспедиции, на мыс Ватутина на острове Октябрьской Революции. Это самый большой остров архипелага (не знаю, как он сейчас называется на новых картах, а может, и не изменилось название, кто знает).

Командир экипажа – Зотов Леонид Иванович. Эта личность достойна того, чтобы о нем рассказать особо. Старше нас всех, воевал на штурмовике, на знаменитом ИЛ-2, кончил войну командиром эскадрильи. Любый его рассказ о его боевом прошлом начинался словами: – Сидим, пьем....

Большой любитель выпить, а, выпив (то есть — нажравшись) — подраться, за что сам неоднократно был бит. Мне об этом уже рассказали второй пилот Витя Мойсеев и Саша Мысливый — радист, которые с ним уже работали. Так что я уже понимал, что конфликтов — не избежать. Но что первый случится в первую же ночевку на Среднем, и что главным «героем» окажется я, вот этого я, конечно, не предполагал!

Прилетели, поужинали и завалились спать. Через некоторое время я проснулся от громкого разговора. Это наш Лёня — местный бухгалтер, здоровенный мужик, они уже где-то очень хорошо набрались и вот пришли теперь поговорить, усевшись на Лениной кровати. Как всегда началось с обычного — сидим, пьем... Дальше — больше и, в конце концов, разговор совершенно естественным образом скатился до...? Правильно, до евреев. И пошло: евреи...жиды... жиды ...евреи... Я лежу, накаляюсь, сам себе говорю: — Спокойно, спокойно!! Чувствую — и остальные ребята проснулись. А потом слышу:

— А ты знаешь, у меня в экипаже еврей есть, штурман.

— Что, настоящий еврей?

— Да, самый настоящий!

— Ну и как он?

— Да вроде мужик-то нормальный, и работает ничего, во, ведь — еврей, жид!

Меня уже всего трясет, но пытаюсь еще себя сдерживать: — Спокойно, спокойно... Но довели меня его последние слова: «ему бы в Москве газировкой торговать, а его, видишь, — в Арктику потянуло!» Дальше я собой уже не упрямлял: встал, включил свет, медленно (ребята мне потом говорили — как в замедленном кино, видимо сказалось самовнушение) подошел к их кровати; при этом бухгалтер выскочил из двери (наверно лицо у меня было страшное), а Лёня, вжимаясь в стену, забормотал: — Ты что, Марк, ты что?

— Так тебе что, жиды на х.. соли насыпали!!!!!!!!?

При этом я схватил его за плечи, потянул сначала на себя

а потом что есть силы — затылком об стену! И тут я, как говорится, сорвался со всех защелок! После того, что потом произошло, я стал понимать, почему нам приходится слышать, читать, что вот убийца нанес тридцать, сорок, шестьдесят ударов ножом... После первого удара, я хорошо помню, у меня в глазах было сплошное красное поле, вот это, наверно и называется — глаза кровью налились, и я начал бить его, сам без памяти, головой об стену. Пока ребята не встали, и не оттащили меня и не выгнали его из комнаты. Меня уложили на кровать, крепко держали, а я рвался из их рук и орал, как мне потом говорили: — Убью, суку!! Утром я увидел на белой, побеленной стене — большое красное пятно... Лёня пришел с большим кровоподтеком на затылке. Долго извинялся, говорил, что очень любит евреев, что у него и друзья евреи есть, обычная история... Должен сказать, что я никогда не был завядлым драчуном (хотя — всякое бывало) и Лёня, при нормальных условиях, думаю, легко бы со мною справился, но он был слишком





Дом на мысе Ватутина

обычной истории, связанной с командирской любовью к выпивке. История, которая вполне могла закончиться трагически.

А пока мы прилетели на мыс Ватутина, где нам предстояло жить и работать. Большой бревенчатый дом, по самую крышу занесенный снегом. Занесенный так, что входом был туннель в снегу, так и входили все три месяца. В этом доме живут все, находящиеся на базе, столовая, камбуз, радиорубка. Недалеко еще несколько строений: продуктовый и технический склады, склад горючего, дизельная, и большой катух, то есть помещение для едовых собак.

Экспедиционная работа, т.е. промеры дна в проливах и съемки береговой черты, длится только около четырех месяцев в году, а все остальное время на базе живут только радисты и

пьян, а я — шибко озверевший. С этой темой было покончено раз и навсегда. Нет, конфликты, конечно, были и неоднократно, по разным причинам, но Леня хорошо знает, чем меня можно взять, чем можно купить. Но об этом позже. Позже я расскажу и еще об одной совершенно не-

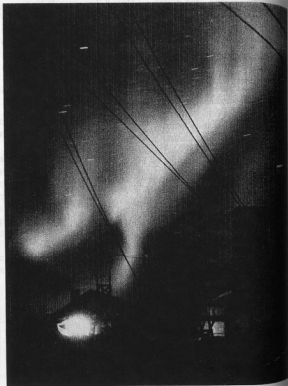
несколько каюров. Это поморы с Новой Земли, из Архангельска. Они перевозят грузы, выгруженные с корабля при осеннем завозе, то есть с места, куда смог подойти корабль, на базу, бывает за много километров, и это может занять несколько месяцев; охотятся на нерпу и моржа, заготавливая корм для собак. Правда охота на моржа и белого медведя строгойше запрещена, громадные штрафы, но кто там их проконтролирует, а один морж — это может быть и десять, и, даже, двадцать нерп. Они ухаживают за собаками, а их, как я уже, кажется, говорил, много более ста. В общем — работы им на всю долгую арктическую зиму хватает.

А весной, с появлением солнышка (месяцев пять оно вообще не появлялось, только полярные сияния иногда освещали небо) собирается народ из Ленинграда и Архангельска: ученые гидрографы, картографы, техники, радисты, рабочие. Организуется десять-двенадцать партий. В каждой партии — упряжка из десяти-двенадцати хороших ездовых собак. А тут и мы прилетели, и сразу за работу. Первым делом все партии надо развезти на заданные точки в разных проливах между островами архипелага. А это значит — десяток собак, нарты, палатку, кучу оленьих шкур, спальных мешков, разного оборудования, продуктов, в общем много всего, и сама партия, человек из пяти.

А потом пошла повседневная работа, какую-то партию на-



Полуостров Таймыр. Фактория «Полугай»



Полярное сияние

до перевезти на другую точку, кого-то довезти, кого-то вывезти, кого-то надо срочно на материк доставить по каким-то там семейным обстоятельствам, или продукты на точке кончились. А то и так бывало: радиограмма с точки — по возможности заверните к нам, надо суку вывезти на базу, вот-вот ощенится. И специально заходим к ним, забираем эту суку и везем ее на базу, в декретный отпуск. Родит она щенят, покормит их там, в катухе, недели две, и опять в партию, работать. Вообще к собакам там особое отношение, немного даже, я бы сказал, трогательное отношение. Они там живут из поколения в поколение, и за много лет ни одна не была убита, разве что в драке с медведем. Старые собаки, которые уже не могут тянуть нарты, пенсионерки, спокойно доживают в катухе, в тепле, в сытости. А однажды был случай вообще удивительный. Пришел к какой-то партии медведь, шатун. Спустили собак в драке он одной суке, Машке, когтем разорвал брюхо. И вот каюр, суровый, неразговорчивый помор с Новой Земли, взял Машку на руки, принес ее всю в крови в палатку, затолкал ей обратно все внутренности и без всякой там асептики и антисептики суровой ниткой, «через край», сшил рваные края раны. И Машка выжила! Зажило все, как говорится, как на собаке. Она уже, конечно, не работала, жила, одна из всех, в доме. И не было ни одного случая, чтобы Машка нас не провожала до самолета, когда мы шли на вылет, и не встречала по прилету. Заслышав шум мотора, она стремглав неслась на нашу стюкалку, и когда мы выходили из машины, она тут же валилась на спину, задирала вверх лапы и ждала когда мы ее приласкаем. По-видимому шов оставался у нее очень чувствительным, и когда ее гладили по животу, то ее пасть раздвигалась в улыбке до ушей и она начинала издавать какое-то восторженное мычание.

Однажды Иван Иванович говорит: — Завтра сходите на Уединение, я с ними договорился, отвезете им пятьдесят пять фильмов и столько же возьмете у них. А какие — мы уже с ними договорились. До полярной станции на острове Уединения

около пятисот километров, это больше трех часов полета в один конец. Представляете, сколько стоит обменяться фильмами? И насколько это важно в тех краях, если идут на такие затраты! И особенно, конечно, для полярников на Уединении. Отдаленный остров в океане, живут там пять человек два года. Один-два раза в месяц им с самолета сбрасывают письма и посылки. Все свои фильмы они смотрели уже по двадцать раз. И вот вдруг полсотни новых картин! Да это же такой праздник для ребят, что представить себе трудно!! Да мы еще подсуетились, чтобы письма и посылки с Диксона не отправляли к ним «на сброс», а к нам на Средний доставили, а от нас это всего восемьдесят километров, мы там часто бывали. Так что мы полярникам большой праздник устроили.

С командиром нашим дружбы у нас, конечно, не получилось, и мы были в состоянии, не скажу – холодной войны, но – холодного мира, это более точно (как у Израиля с Египтом). А конфликты бывали. И когда очередной конфликт доходил почти до взрыва, Леня пускал в ход «тяжелую артиллерию» – делал беспроигрышный ход:

– Витя (это – второму пилоту), ты отдыхай сегодня, или спать. Марк, садись на правое кресло. Взлетай. А после взлета или закрывал глаза и дремал, или уходил назад из кабины попить кофейку или поболтать с кем-нибудь, предварительно буркнув: – Перед посадкой позви. Перед этим я устоять не мог! Тем более что и выхода другого не было, ведь работать – то надо было. Леня хорошо знал, что я, учитывая свое «пилотское» прошлое, очень любил «покрутить штурвал» и умел этим хорошо пользоваться. Надо отдать ему должное, он был прекрасный летчик и хороший инструктор. За те три с половиной месяца, что мы провели на Северной Земле, я хорошо освоил управление нашей «Аннушкой» на уровне второго пилота. И он доверял мне.

А с его любовью к выпивке, так он сорвался только один раз, но сорвался крепко.

Накануне Первого Мая мы, загрузившись ящиками с праздничными наборами для каждой партии, вылетели для облета всех точек. Кроме того, надо было, как всегда, кого-то забрать, кого-то высадить, кого-то переместить, так что у нас все время были пассажиры на борту. И вот на первой точке Лене, по его просьбе, налили стакан коньяка, на второй, на третьей... И в один прекрасный момент, я вдруг чувствую, что машина резко пошла вверх, а потом также резко перевалилась в пикирование. Мы все вместе с ящиками и пассажирами взлетели к потолку, и одновременно я услышал громкий вопль Вити Моисеева: – Ма-а-а-рк!!!!

Я врываюсь в кабину и вижу такую картину: Леонид Иванович с силой тянет штурвал «на себя» и бормочет:

– Сейчас я тебе еще раз покажу невесомость. А Витя что есть мочи пытается противодействовать ему своим штурвалом. Это я рассказываю долго, а дело шло на секунды. Ведь мы шли на высоте всего двести метров, и если первый раз по счастливой случайности обошлось, то второй мог кончиться немедленной катастрофой. Я не нашел ничего другого, как схватить его крепко за глотку, Леша, наш бортмеханик, оторвал его руки от штурвала, Леню вытащили из кабины, связали ему руки и ноги, и сели на него. Я сел на левое, командирское, кресло и мы, вдвоем с Витей закончили всю работу. Ну, а когда мы вернулись на базу, то в руках у Чевыкалова уже были радиogramмы с нескольких точек о наших художествах.

– Ну, что, – говорит, – будем делать? В Москву радиogramму давать...

Мы уговорили с радио подождать, тем более что замены нет, так как все на льду, а мы сами попробуем с Ленией поговорить.

Приходит к нам Леня, проспавшись, весь в синяках.

– Ну, что, Леонид Иванович, помнишь, что ты творил, как невесомость показывал?

– Не может быть, не могло быть такого!

– Было, Леня, было. Вот радиogramмы с точек, и Чевыка-

лов хочет Шевелеву радировать. Мы пока отговорили его, поручились за тебя. Что будем делать-то?

— Спасибо, ребята, я больше не подведу, будем хорошо работать, да вы ведь и сами все умеете...

И действительно — больше никаких эксцессов до конца работы не было. Забегая вперед: по возвращению в Москву, я попросил командира эскадрильи больше меня с Зотовым не планировать. Он был очень удивлен: — Да? А Леонид Иванович подходил ко мне вчера, говорит, что после отпуска хочет опять с тобой работать. Ну, как хочешь, я его нрав хорошо знаю... Что было, то было.

Да, чуть не забыл об очень важном элементе для всех нас в этот период — о почте. Почтой, конечно, всю экспедицию снабжали мы. Как правило, ее привозили на Средний, а мы, благо до него всего восемьдесят километров, в любой день забирали ее оттуда. Но бывало и так, что почта для нас скапливалась на Диксоне, а самолета на ближайшие дни не предвиделось, и тут уж мы сами неслись на Диксон за 700 километров (почта ждать не может, там де письма!!!). Заодно выполняли там и кучу поручений: там ведь и магазины, и Управление. А какой был там мой адрес? Недавно Нина случайно наткнулась в бумагах на конверт с письмом, сохранившийся с тех пор. А на нем адрес: Москва А-278. Северная Земля. Остров Средний. Мыс Ватутина. Борт 04226. Эдельштейн Марку.

Где-то в начале мая появился у нас гляциолог Говоруха, который, конечно, сразу преобразился у нас в Говоруху-Отрока (помните — в повести и в фильме «Сорок первый» был такой поручик Говоруха-Отрок). А гляциология, это наука, изучающая лед, ледники, и все, что к ним относится. Причина появления Говорухи была та, что при дешифрировании результатов аэрофотосъемки Северной Земли, на острове Октябрьской Революции, был обнаружен еще никем не описанный ледник, и вообще там еще не ступала нога человека. И он, Говоруха, будучи нами доставленным туда, должен был его осмотреть, опи-

сать, и т. д. Психологически интересный момент: мы совершенно точно знали, что до нас здесь не был никогда ни один человек! А потом Говоруха говорит, что поскольку у этого ледника еще нет имени, то нам, как открывшим его, представляется честь дать ему название. Ну, стали мы придумывать разные имена, кто-то предложил назвать ледник Аннушкой, в честь нашего маленького самолета. А я сказал, что это уже какое-то избитое имя, давайте лучше назовем его Ледником Аниюты. Неожиданно для меня это всем почему-то очень понравилось, и так и решили, и так и записали в протоколе, и все поставили свои подписи.

Через два года я опять встретил Говоруху на одном из северных аэродромов. Он обрадовался встрече, достал из сумки крупномасштабную карту Северной Земли: — Смотри, Марк, твое название уже на карте! И показывает на наш ледничок, а рядом надпись — Ледник Аниюты. Пустычок, а приятно!

Работа закончена, все партии собраны на базе. Накануне нашего вылета на материк для нас был устроен праздничный вечер. Особенно отличился в этот вечер наш повар — Толя Гавриков. Он приготовил для нас такие блюда, и оформил их так, как он потом делал это для нас с Ниной в Москве в своем ресторане на улице Горького против Юрия Долгорукова, где он был шеф-поваром. А мыс Ватутин — это было начало нашей с ним многолетней дружбы.

Шестого июня мы вылетели домой. Шли на Диксон, но он закрылся туманом, и нам пришлось уйти на запасной. Это не запасной аэродром, а просто мы подсели на ледяной припай около радиостанции на мысе Эклипс. Правда перед посадкой нас «обрадовали» тем, что накануне у них сгорел дом, сами они ютятся в радио будке, и нам придется ночевать в самолете. Ну что ж, неприятно, но дело привычное. Пожарили себе на плитке шницеля, попили горячего кофе, залезли в спальные мешки и заснули.

Итак, седьмого июня мы проснулись в спальных мешках в самолете, на льду, на берегу Карского моря, температура — минус 16 градусов Цельсия. Это был, пожалуй, один из самых

необычных дней в моей жизни. Вылетели на Диксон. Там переобулись, то есть сбросили лыжи и одели колеса и, не задерживаясь, пошли на Амдерму, откуда уже пассажирами должны были лететь в Москву. Подходим к Амдерме, мы уже над аэродромом, и видим — на стоянке стоит ИЛ-18, мы знаем — это наш, он на Москву идет, и он уже начинает запускать двигатели. Мы взмолились диспетчеру: — Подожди, задержи его, мы из экспедиции, мы три месяца... И, в ответ слышим командира корабля: — 04326, я вас понял, выключаю двигики, но вы поторопитесь, у нас ведь расписание. — Спасибо, спасибо, мы — мигом!

После посадки механик сразу рванул сдавать машину, радист — секретные документы, второй пилот побежал в отдел перевозок оформлять билеты. А мы с командиром сразу начали перетаскивать все наши вещи в ИЛ-18. Короче — через пятнадцать-двадцать минут мы сидели в уютных мягких креслах и смотрели в иллюминаторы на удаляющуюся внизу Амдерму. Четыре часа полета, и мы садимся в нашем родном Шереметьеве. А теперь представьте себе: после трех месяцев арктической зимы, за несколько часов перелететь в лето, выйти из самолета на зеленую траву, а кругом лес! Первый и единственный раз в жизни я не только почувствовал запах травы, но у меня от него голова закружилась, как от самых крепких духов!!

Хватаю такси и несусь в город, предвкушая, — что сейчас будет дома! Дело в том, что сегодня, седьмого июня, Нинин День рождения, время — седьмой час, то есть самое время сбора гостей. А меня сегодня еще никто не ждет. И вот — вылезая из машины, в унтах и меховом костюме, с рюкзаком, спальным мешком и чемоданом, бегу по лестнице на свой четвертый этаж, жму на звонок. Нина открывает дверь, и... сцена из «Ревизора»: за празднично накрытым столом все гости замерли с поднятыми бокалами за здоровье именинницы! Я сказал: — Ша! Пять минут перерыв, первый бокал — вместе со мной!!!! — и нырнул в ванную. И через несколько минут я, уже в легких летних брюках и тенниске с короткими рукавами, сидел за праздничным столом и поднимал бокал за здоровье своей любимой!

«Обычное дежурство» на Диксоне

— Скажи, Марк, летчики пьяные летают? А вот я слышал (слышала) они частенько поддают перед вылетом?

Сколько раз за время моей летной жизни мне приходилось отвечать на подобные вопросы! И каждый раз я совершенно искренне убеждал собеседника, что этого не бывает, что это чушь, что перед каждым вылетом экипаж проходит проверку у врача, что это просто исключено, что это грозит увольнением и лишением пенсии (даже уже заработанной). И все это совершенно правильно. Я и сейчас готов подтвердить то же самое. Все это совершенно верно... Однако жизнь — довольно сложная штука и все на свете предусмотреть невозможно...

...Мы на «дежурстве» на Диксоне, если более правильно — на острове Диксон. Мы — это экипаж самолета Ли-2 Полярной Авиации во главе с командиром Юлием Векслером. А Диксон, это наш главный аэропорт Западного сектора Арктики, в который входят и архипелаги: Новая Земля, Северная Земля, Земля Франца-Иосифа, и большинство отдельных островов с полярными станциями, и ледовые полярные станции «СП», и большое количество береговых поселков, поселочков и отдельных охотничьих домиков, отстоящих на сотни километров от любого другого жилья. Короче — основная повседневная работа в Арктике для нас — с Диксона. И везде живут и работают люди. И каждый из них должен быть уверен, что где бы он ни был, он может рассчитывать на то, что в случае необходимости ему окажут помощь.

Вот для этого и существует дежурный экипаж. Дежурство, как правило, один месяц: с пятнадцатого — по пятнадцатое, впрочем, — как и обычный вылет в Арктику на работу. Тут маленькая хитрость. Мы живем в Москве, отряд наш в Шереметьево; месяц работаем, — месяц дома: отдых, занятия, экзамены... Но есть у нас такое понятие — месячная санитарная

норма налета — 100 часов налета и превышать ее ни в коем случае нельзя. Так вот чтобы налет шел каждый месяц, и придумали этот финт: за вторую половину первого месяца — сан. норма и за первую половину второго месяца еще сан. норма. И волки сыты, и овцы целы. И можно спокойно месяц в Москве отдыхать.

На самом деле дежурство — это обычная работа, которой на Диксоне всегда очень много, то есть — замена полярников на полярных станциях, завоз оборудования или продуктов, полеты на сброс почты по всей Арктике; это может быть ледовая разведка или проводка судов и караванов, полеты за рыбой на озеро Надудотурку за 130 км. от Диксона, да мало ли какие еще задания могут быть — всех не перечислишь. Ну вот, например, ситуация: полярная станция, живут там, скажем, шесть человек, среди которых — две девушки (прямо скажем — ситуация — взрывоопасная, но это тема для особого рассказа). И вот приходит к начальнику станции парочка, и говорят они: — Иван Иванович, мы решили пожениться, дайте нам, пожалуйста, отдельную комнату. На что следует однозначный ответ: — Э, нет, голубчики! Я, конечно, верю в ваши серьезные намерения, но вы сами должны понимать специфичность наших условий, и поэтому вы вначале слетайте-ка на Диксон, уж потом... И заказывает он самолет. И летим мы за этой парочкой и везем их на Диксон, где они регистрируются в районном ЗАГСе и уже молодой семейной парой возвращаются к нашей помощи, на родную полярную станцию. А там уже ждут, и нас торжественно встречают у самолета. А в какой-то компании накрыт праздничный стол: белоснежная крахмальная скатерть, шампанское, коньяк, икра (это из каких-то глубоких запасов начальника станции), повар исхитрился на какие-то удивительные торты и блюда; все одеты в свое самое лучшее. Все на самом высоком уровне! А комната для молодых — как будто руками любящей мамы или бабушки приготовлена. Чистота идеальная, лучшие вещи из мебели из всех помещений расставлены здесь, белье белоснежное, на столе — скатерть и ва-

с цветами, выращенными каким-то чудом за несколько дней. Все это так трогательно! И это я не только какой-то конкретный случай описываю, а именно — типичный, так всегда!

Но!! В любое время дня или ночи, во время отдыха или во время выполнения любого задания, если где-то что-то случается и нам поступает приказ выполнить сан. рейс — мы прерываем любую работу и немедленно вылетаем по этому заданию: значит кому-то требуется срочная медицинская помощь, заболел человек, травму получил, рожать кому-то приспело, да мало ли что может быть. Или так бывало: срочный сан. рейс! Несем же туда пять, шесть, восемь часов! Прилетаем, садимся. К самолету подходит женщина с чемоданчиком.

— Где больная?

— Я больная. — И смеется!

Оказывается, — летит на аборт! А что? Имеет право, как любая гражданка страны. И дело срочное. И везем ее на Диксон, а дня через три-четыре — обратно. Во сколько тысяч, или десятков тысяч, наших полновесных советских рублей эта процедура обходится — это никого не интересует: есть конституция, есть закон и мы воспринимали подобные случаи как нормальное явление. Надо, значит надо: садись, поехали!

Но это такая веселая история, а бывали истории и более драматичные. Во время какой-то работы получаем на борт радиogramму — срочный санитарный рейс на один из островов Земли Франца Иосифа: то ли остров Хейса, то ли остров Грем-Белл, запомню за давностью лет. Там была небольшая воинская часть, рота связи, кажется. И несколько солдат там напились какой-то гадости, вроде метилового спирта. Начальство это тут же обнаружило, и сразу забило тревогу. Прекращаем выполнение задания и немедленно идем на посадку на о. Средний на Северной Земле, — там ближайший аэродром. Радио на Средний: время прибытия..., подготовьте заправку, погоду и прогноз по маршруту — Средний — 3.Ф.И. (Земля Франца Иосифа) — Диксон, и обязательно врача или медицинскую

сестру. Залились полностью, т.е. четыре бака и еще внутри фюзеляжный бак, благо он был на нашей машине, чтобы не тратить время на заправку на обратном пути. Мы прекрасно понимали, что нельзя терять ни минуты. Там, на острове, нас уже ожидали шесть перепуганных солдатиков. Забрали их и пошли на Диксон. В полете, а это около восьми часов, им становилось все хуже и хуже, особенно двоим. И примерно за час до посадки один солдат умирает, о чем мы тут же сообщаем на Диксон. Только зарулили на стоянку, к нам в кабину заходит начальник порта: – Ребята, – говорит – там как только узнали, что один умер, в сан. часть целая очередь выстроилась: – Я попробовал, и я... Так что придется еще раз, если можете. Как вы? А мы уже около шестнадцати часов налетали, это две дневных нормы, сутки работы. А что делать? Там ведь еще умирать могут. Надо лететь. Когда пришли туда второй раз, мы с командиром пошли к солдатам в казарму. Братцы, – говорим, – если кто еще пробовал хоть чуть-чуть не скрывайте, надо лететь с нами. Третий раз мы уж не сможем прилететь. Не признаются больше. Ну, ладно, забрали человек шесть-семь, и опять – на Диксон. А там еще двое или трое умерли. В общем – там «раскололись» еще несколько человек, но мы были просто не в состоянии без отдыха третий раз лететь: двое суток без отдыха, более тридцати часов налета (это при максимальной месячной норме налета – сто часов). Хорошо, что в Хатанге еще один наш самолет работал, он в это время ледовую разведку выполнял. Так его завернули, и он слетал за третьей группой. Шесть человек тогда умерли, отравившись этой гадостью.

Ну, сан. рейсы – дело не очень частое, поэтому занимаюсь своей обычной работой. Вечером, как обычно, звоню диспетчеру для того, чтобы узнать – какая работа на завтра. Он дает все варианты; все, что есть на завтрашний день. Утром – первым делом звонок к синоптику: получаю фактическую погоду и прогнозы по всему району, в зависимости от погоды решаю, какое из заданий будем выполнять и сообщая об этом

диспетчеру и синоптику.

А задания бывали самые неожиданные. Вот, например, однажды вечером вызывают меня и командира к командиру отряда. Захожу, сидит Яков Яковлевич Дмитриев, командир отряда, один из старейших наших полярников, в трех антарктических экспедициях участвовал, уважаемый всеми человек, и Кривошеев, штурман отряда.

– А Векслер где?

– Не знаю, ушел куда-то.

– Ты на полюс был, Марк?

– Нет, Як Якыч, еще не доводилось.

– А Векслер?

– Думаю, что, и он не был. Во всяком случае, командиром – точно не был. Может раньше, когда вторым был...

– Понимаешь, какая штука, прилетел из Москвы академик Федоров с какими-то иностранцами, и он им полюс должен



Полярная станция «А. Восточная» на крошечном острове между землей Франца Иосифа и Штатсбергеном. Живут 5 человек. Улетает туда на 2 года.

показать, там какая-то процедура готовится. А экипаж, что их из Москвы привез, там командир и штурман молодые еще ребята, они лучше поджуют тут за вас пару дней, а вы слетайте. Федоров хочет вначале облет полярных станций сделать, потом переночуете в Нагурии, залетесь «по горло», и — строго на север. По дороге свяжитесь с СП-19 и СП-21 на обратном пути.

— Как, Марк, найдешь полюс? — это Кривошеев, и смеется.

— Дык, куда он денется, найду, ваша школа.

— Ну, смотри там, повнимательней. Секстант, таблицы...

— Все есть, Все на борту.

— Ну, давай, Векслеру там расскажи про задание. Отдыхайте.

Академик Евгений Федоров, Начальник Гидрометеослужбы России (пardon — Советского Союза), один из четырех папанинцев. А здесь, в Арктике, — большой человек: начальник всей погоды, ему подчинены все полярные станции, гидрометслужбы, радиогидрометцентры.

Пришел к себе. — Мужики, — говорю, — завтра на полюс пойдем, Федорова повезем.

Заулыбались: — Даа? Посмотрим как она, ось, крутится, смажем!

Утром как обычно: завтрак, синоптика, дежурный штурман, диспетчер, и — на самолет. Заходим — и целости отвести: на полу ковровая дорожка вдоль всего фюзеляжа, на столе скатерть, ваза с фруктами. А наш же самолет не в пассажирском, а в грузовом варианте: железный пол, откидные сиденья по бортам, откидной же столик. А тут... Ну, думаем, скурвимся, полярничек!

Пришел Федоров, с ним четыре или пять человек. Взлетели, курс на мыс Желания, там полярная станция, первая посадка. Через какое-то время заходит к нам в кабину Федоров. Поговорили о том, о сем, а потом он говорит, что вот, мол, вы сейчас работаете совсем в других условиях, а у нас все проще, скромнее было. На наш недоуменный вопрос: а что, собственно изменилось, он показывает на дверь и говорит: вот — ковры, скатерти, вазы с фруктами в самолете... А потом, увидев

наши лица, вдруг побледнел, лицо злосе стало: — Так это не ваше? — повернулся и ушел. И мы, приоткрыв дверь, видели потом, как он что-то сердито выговаривал начальнику диссонского радиометцентра, сопровождавшего «хозяина» в полете. Когда мы вернулись поле обеда на полярной станции, на самолете не было уже ни ковровой дорожки, ни... все, как обычно.

Сделав несколько посадок на полярных станциях, не так для инспекции, как чтобы показать их своим спутникам, на ночевку пришли в Нагурскую. Аэродром назван так в честь первого полярного летчика — поляка Нагурского и находится он на одном из островов архипелага Земля Франца Иосифа (остров — Земля Александры).

Утром, полностью заправившись и убевившись, что погода нам благоприятствует, взлетели, и я сказал пилотам: — Ребята, а теперь — курс 0! То есть — строго на север!

Из разговора с Федоровым я понял, что мне предстоит устроить некоторую показуху, впрочем, показуху совершенно безобидную.

Дело в том, что для задуманного им, я должен был после посадки совершенно точно определить точку полюса, что, по многим причинам, сделать было конечно невозможно. Бывают же такие вот совпадения: только час назад именно об этом говорили в телевизионной передаче «Как это было». Речь шла о дрейфующей станции «Северный полюс-2», о том, что папанинцы высадились в пятидесяти километрах от полюса. Это действительно было именно так. И тут не было никакой фальсификации, никакого обмана. Для обывателя, для народа, страны, для всего мира — они были на Северном полюсе! Что значит посадка на полюсе? Я попробую объяснить это. Наиболее точно полюс можно определить измерением высоты Солнца. Из специальных астрономических таблиц определяется высота Солнца на данное время на полюсе (высота светила — это угол между линией горизонта и направлением на светило, измеряется в градусах, минутах и секундах; в градусе — 60 ми-

нут, в минуту – 60 секунд). И вот при подходе, уже в непосредственной близости от заветной точки, штурман при помощи секстанта все чаще и чаще измеряет высоту Солнца. Разница между высотой измеренной и высотой табличной даст оставшееся расстояние до полюса: десять минут – это десять миль, минута – миля (1852 метра), секунда – соответственно – 31 метр. Разница все меньше и меньше, напряжение в экипаже все больше и больше (полюс все-таки, а не фунт изюма!). И наконец, восторженный рев штурмана: – Мужики, полюс!! Ложимся в вираж, смотрим вниз, а внизу – вода, а ледяные поля в стороне, или внизу лед, но весь в трещинах. И теперь надо найти льдину, пригодную для посадки, то есть определенного размера, определенной толщины, без трещин, заструпы и торосов. А время на это может уйти и пять минут, и десять, и полчаса. И где мы теперь можем оказаться, в скольких километрах от заветной точки?

Теперь я уж заодно расскажу и о самой посадке на дрейфующую льдину. Итак, льдина найдена, то есть, найден участок ледяного поля, достаточного размера для посадки, по определенным признакам – толщина льда – более чем..., нет трещин, торосов, айсбергов, вайсбергов и прочих рабиновичей. Решаем: будем садиться! Сбрасываем дымовую шапку для определения направления ветра и заходим на посадку. Первое, на что обращается внимание – не темнеют ли на снегу следы от лыж, то есть, нет ли воды. Если след темнеет, то, останавливаясь, полный газ, и на взлет. Если нормально, то есть след от лыж белый, то один из членов экипажа выпрыгивает на лед и быстро начинает бурить лед и только убедившись в достаточной толщине льда – показывает руками крест: – Порядок, выключайте двигатели!

А потом началось мое священнодействие. Я вышел на лед с секстантом, таблицами, измерял высоту, рассчитывал по таблицам, определял направление по девиационному пеленгатору, установленному на треногу, а Евгений Константинович

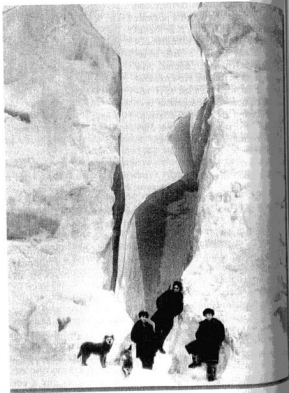
со своими спутниками почтительно стояли вокруг. Наконец я показал определенную точку, в которую вбили заранее приготовленный металлический штырь, а затем началось самое главное действо. Мы все отошли метров на сто-сто пятьдесят и сделали полный круг вокруг «полюса», т.е. совершили кругосветное путешествие! В подтверждение чего каждому из нас был торжественно вручен значок с надписью: «Совершившему кругосветное путешествие».

Вот такая была история...



В тот день, о котором пойдет речь, погода и прогнозы были прекрасные, поэтому я решил идти на сброс почты «по большому кругу».

Сброс почты по большому кругу – об этой работе стоит рассказать подробно. Годы моего детства совпали со знаменитыми событиями в Арктике: это чкаловский перелет, спасение челюскинцев, папанинцы. Северный полюс! Голова кружилась от одних названий: Земля Франца Иосифа, остров Рудольфа, Мыс Желания, пролив Вилькицкого, остров Диксон... А фамилии знаменитых полярников и полярных летчиков! Да мы их все знали наизусть: Водопьянов, Мазурук, Спирин, Аккуратов! А фамилии четырех зимовщиков на Северном Полюсе мы произносили на едином дыхании, как одно слово: Папанин – Кренкиль – Шишов и Федоров!! И мог ли я тогда подумать, что пройдут годы, и я познакомлюсь со многими из этих людей, что с некоторыми из них я еще буду работать, а начальника Гидрометеослужбы СССР академика Евгения Федорова я повезу на Северный Полюс, это будет его второе посещение «вершины мира», и что все эти



«Айзенберги в айзбергах»

Уникальный экипаж командир корабля - Юлий Векслер, бортмеханик - Константин Гуревич, штурман - Марк Эдельштейн

места с такими романтическими названиями станут мне близкими и привычными на многие годы! Ну, так или иначе, начал я работать в Полярной авиации, ошеломление от всей этой северной экзотики довольно быстро прошло, и началась работа, обычная работа, но очень и очень для меня интересная, прежде всего в чисто профессиональном отношении. Дело в том, что в штурманском отношении работа в Арктике – самая сложная, ее просто не с чем сравнивать. Прежде всего, это связано с тем, что магнитные компаса из-за близости к магнитному полюсу Земли работают так неустойчиво, что показывают, как у нас говорили, «цену на дрова» вместо курса, и мы на них просто не смотрели. Я попробую объяснить, в чем тут дело. Наверно очень многие, так или иначе, слышали когда-то, что вот на дальнем севере магнитные компаса плохо работают, а почему – мало кто задумывался. А это довольно интересно. Каждому из нас приходилось хоть раз держать в руках магнит, и все мы прекрасно знаем, что чем ближе гвоздик или там иголка к магниту, т.е. к его полюсу, тем притяжение сильнее. Это верно и для Земли. Но дело в том, что магнитный полюс Земли находится не на поверхности, а на довольно большой глубине и именно в эту точку направлена магнитная стрелка. Если на больших расстояниях от полюса этим крохотным уголком можно пренебречь, то в высоких широтах наклон стрелки настолько увеличивается, что она теряет устойчивость. И при приближении к полюсу (магнитному, не географическому) магнитная стрелка будет все больше и больше наклоняться и точно над магнитным полюсом свободно подвешенная стрелка станет строго вертикальной. Это первое. А второе, это то, что магнитный полюс не совпадает с географическим и находится на значительном расстоянии от него, следовательно, всегда любой магнитный компас показывает север (и курс вообще) с ошибкой на этот угол. И теперь, уже немного подготовленные мной, представьте себе, – куда будет показывать северный конец магнит-

ной стрелки, если мы окажемся между географическими и магнитными полюсами? Правильно, на юг! Не на север, как ему, вроде бы положено, а именно на юг, т.е. с ошибкой на 180 градусов! И поэтому для самолетовождения мы использовали методы астрономической навигации по Солнцу, Луне, звездам в комплексе с различными гироскопическими системами. А это значит – совершенно другие штурманские приборы: астрокомпас, секстант, гироскопические компасные системы, совершенно другие карты, другие, более сложные расчеты, которые больше нигде, кроме как в Арктике (и конечно – Антарктике) не применялись.

И ответственность! Самая серьезная ответственность за самолет и жизнь экипажа практически в каждом полете. Если штурман допустил ошибку в расчете курса, то в океане никакой дозатор не поможет, не выведет куда надо, а если плохо проанализировал прогноз погоды, да еще неправильно рассчитал запас горючего до основного и запасного аэродрома, то... садиться негде, только лед, да вода.

Ну вот, а теперь о сбросе «почты по большому кругу». Примерно один или, иногда, два раза в месяц собирается почта «на сброс» для всех полярных станций Арктики. Почта – это письма и посылки. На каждой посылке – надпись: «Согласен на сброс», т.е. отправляющий посылку знает, что она будет сброшена с самолета и сам отвечает за сохранность содержимого. Опытные люди ухитрялись отправлять в посылке даже бутылки со спиртным. Как? Ну, например, взять буханку свежего хлеба, разрезать ее пополам, вмять между половинками бутылку и, туго перевязав, положить в ящик, предварительно еще обмотав чем-нибудь мягким. И представьте себе – иногда доходит в целости и сохранности!

Утром все встали, позавтракали в столовой тут же в гостиной и разъехались: я и командир – на вышку, а второй пилот, борт. механик и радист – на самолет. Хотя чаще, а точнее – обычно, на вышку я ехал один. Там получал послед-

нюю консультацию у синоптика, подписывал бортжурнал у дежурного штурмана, расписывался у диспетчера в журнале принятия решений на вылет, и на ожидающей меня машине – на самолет.

Тут, в самый раз, я хочу разъяснить один момент: часто у меня встречаются слова: меня позвали к телефону, я решил, я подписал, я проанализировал погоду и т.д. Что это такое, что это за нескромность такая, я ведь штурман, а не командир экипажа? Дело тут не в нескромности. Есть в авиации такое выражение: штурман – авиационная интеллигенция. Оно конечно: карты, штурманская логарифмическая линейка, расчеты... Но в Полярной авиации роль штурмана неизмеримо выше, чем где бы то не было и как-то так повелось, что на земле именно штурман все организовывал и решал, и командир ему полностью доверял, я уж не говорю о работе в воздухе.

Самолет заправлен, заправка стандартная – четыре бака, то есть полная. На полу гора мешков с почтой, на каждом – белой краской адрес, т.е. название полярной станции: остров Рудольфа, остров Уединения, Русская Гавань. О! Русская Гавань, с нее и начнем! Курс..., поехали! Русская Гавань – это полярная станция немного юго-западной самой северной точки Новой Земли – Мыса Желания. До нее ехать более двух часов, теперь есть время разобраться с остальной почтой, разложить мешки по порядку, прикинуть дальнейший маршрут, перекурить. Поболтать с экипажем. Об экипаже разговор особый. Это был уникальный экипаж: командир – Юлий Векслер, штурман – Марк Эдельштейн, бортмеханик – Костя Гуревич, ну и два «наимена» – второй пилот – Лева Семенов, хохол, и бортрадист – Коля Тарлавин, русский. И они знали свое место и не «пикали», потому как понимали, что – в меньшинстве! Я



Мешок с почтой
Сброс почтой на полярную
станцию. 1965 год

шучу, конечно, экипаж был прекрасный, дружный, и вообще вопрос национальный в Полярной авиации не стоял никогда, даже в самые тяжелые времена. Это тема для особого разговора. Пока скажу только, что о человеке здесь судили по двум параметрам: во-первых – коммуникабельность, т.е. – что ты за человек, не испортишь ли ты жизнь экипажу за двух трехмесячную работу в отрыве от всего привычного круга общения, и, во-вторых, – можно ли тебе, как специалисту, доверить свою жизнь практически в каждом полете. Нет, были некоторые исключения: например – появление в экипаже новоявленного штурмана-еврея принималось, как правило, с большим энтузиазмом: не заведет куда не надо и во время любой пьянки хоть одна голова свежей останется!

Подходим к Русской Гавани, идем на их радиоприем, снижаемся до высоты двадцать – тридцать метров и сбрасываем им на головы, а точнее – на зажженные ими огни, парашютики. Получаем привычное: «Спасибо, ребята, всего вам хорошего!» и в набор высоты. Теперь – курс на остров Визе, на остров Ушакова. С Ушакова просят: – Ребята, зайдите пониже, а то в прошлый раз одни горлышки нам достались! Ну что же, пожалуйста, если просите – сделаем. На самом деле это не имеет никакого значения для сохранения целостности утерянных бутылок, но раз им так кажется, – почему не уважить!

Мне при этом почему-то всегда вспоминался один эпизод из «Двух капитанов» Каверина. Там Саня Григорьев, когда он учился в летной школе, получил от бабушки письмо, где она пишет – береги себя, летай пониже. И вот в стенгазете появляется такое четверостишие:

Хорошо скользить, когда есть высота,

Плохо выравнивать на уровне крыши.

Саня, не надо собой рисковать,

Бабушка просит летать пониже.

Ну, снижаемся метров до десяти, сбрасываем мешок и опять вверх, теперь пора на ночевку, на отдых. Вопрос – куда?

Еще при подходе к Ушакову решаем, где будем отдыхать. Примерно на одинаковом расстоянии от нас на запад – аэродром «Нагурская» в архипелаге Земля Франца-Иосифа, а на восток – аэродром на острове Средний на Северной Земле. Вопрос решается в пользу Нагурии: туда сильный попутный ветер – быстрее долетим и, кроме того, тетя Настя, повараха, на всю Арктику славится своими пельменями. Курс на З.Ф.И.

Коля уже стучит ключом, передает время прибытия и персональную просьбу к тете Насте насчет пельменей. Так кончился первый день.

Нет, не кончился, там был еще один интересный маленький эпизод, благодаря которому я мог потом, глядя своими честными, широко открытыми глазами в лицо любого замполита, смело говорить, что я не всегда могу верить нашей (нет, конечно, в большинстве случаев, товарищ замполит, очень правдивой) советской прессе. Когда я зашел к диспетчеру, чтобы дать ему заявку на завтра, он вспомнил, что на днях в «Советской России» он видел какую-то статью, где упоминается моя фамилия. Я говорю, что может это об однофамильце?

– Да нет, – говорит, – это о нас.

Ну, это уже совсем интересно! Пошел я в библиотеку, взял подшивку «России» и действительно нашел там статью «Полярные робинзоны», и там упоминается моя фамилия. Выдрал я эту газету из подшивки (пусть бросит в меня камень тот, кто, на моем месте, удержался бы от этого варварского действия), и вот сидим с ребятами и читаем. Довольно большая статья «Полярные робинзоны». Автор статьи Филиппини. А пишет он примерно так: «...вот летим мы над ледяным безмолвием Северной Земли, мы летим на полярную станцию «Краснофлотские острова»... Под нами проплывают айсберги, вайсберги и прочие рабиновичи, и прочая там северная романтика... Ведет воздушный корабль известный полярный летчик Константин Васильевич Карагодин. Это грамотнейший летчик, он помнит без карты все острова Северной Земли!». О

Косте Карагодине у нас еще речь впереди. А дальше я вступаю с вдохновенной речью: — Подходим, — говорит штурман Марк Эдельштейн, парторг экипажа. Все было бы ничего, но все дело в том, что в этом экипаже я был... единственным беспартийным! Это первое. А второе то, что Филиппинин, это Начальник политуправления Полярной Авиации, наш, так сказать, главный замполит. И он прекрасно знал, что я беспартийный. У этой истории было продолжение. Когда я вернулся в Москву и пришел к родителям, то папа мне говорит: — Поздравляю, сынок, ты теперь в парторгах ходишь, но я не понимаю, почему ты скрыл от нас, когда ты в партию вступил? Я быю себя коленкой в грудь: — Папа, я никуда не вступал, я ни сном, ни духом... Ну, посмеялись мы, а потом стали думать: зачем им это было нужно. И пришли к одному выводу, и я думаю, что не ошиблись. Дело в том, что как раз в это время в стране проходила какая-то очередная антисемитская кампания. А тут статья, да — в центральной газете: в Полярной Авиации штурман Эдельштейн! Да еще — парторг!!!!!! При каком таком антисемитизме в Советском Союзе могло бы быть такое?

А кликуха — «Парторг» за мной оставалась пока существовала Полярная Авиация.

На следующий день работали в районе З.Ф.И., это остров Грэм-Белл, а нем речь еще впереди, остров Рудольфа и остров Виктория. Остров Виктория, это самый удаленный из всех наших островов, он находится посредине между З.Ф.И. и норвежским архипелагом Шпицберген. На этом крохотном клочке земли жили и работали четыре человека, четыре полярника. Смена — через два года, почта — один или два раза в месяц, а когда самолет с посадкой два-три раза в год, то это такой праздник!!! И что для них самый большой подарок? Фильмы! И если мы привозим им сорок-пятьдесят коробок с новыми для них фильмами, то радости нет предела! И еще на острове живут около тридцати белых медведей.

А остров Рудольфа, это самый северный наш остров

Именно на Рудольфе была последняя посадка у папанинцев перед рывком на полюс.

После окончания работы пошли на ночевку на Северную Землю, на остров Средний. Дали расчетное время прибытия, заказали ужин. После посадки разделись в своей комнате, привели себя в порядок и приходим в столовую. Надо сказать, что и столовая, и комнаты для экипажей, и диспетчерская, и жилые помещения, и вообще все службы аэродромные помещаются в одном длинном одноэтажном доме. Кроме, разве что — склада ГСМ, да дизельной. В столовой собрался весь свободный народ: как и каждый вечер после ужина крутят какой-нибудь фильм. Но если должен прилететь экипаж, то без него никогда не начинают, это неписаный закон. Вообще — отношение к летчикам в Арктике, особенно на островах, на полярных станциях, это особая и большая тема; да оно и понятно, если подумать. И вот мы сидим, ужинаем, аппарат уже стоит, экран уже висит, а люди, свободные от дежурства, от вахты, сидят в ожидании, когда мы кончим ужинать. Разговаривают, читают. Рядом с нами сидит молодая женщина, радистка, и читает своей трех или четырехлетней дочке, сидящей перед ней на маленьком стульчике, сказку, и там такие слова встретились: «...и залез он (кто-то там, неважно) на дерево...» И вдруг эта малышка поднимает на маму глазки и говорит: — Мама, а что такое — дерево? Мы переглянулись и... и никто ничего не сказал. Может быть, этот эпизод был не в этот день, в какой-то другой прилет, но это было, и забыть это невозможно.

Третий день работали в том районе. Я все пишу — день первый, день второй, но это все только по часам — день, а на самом деле это была середина зимы, полярная ночь, темнота круглые сутки.

А вот теперь мы, наконец, подходим к основной теме моего рассказа.

Итак, закончив трехдневную работу, облетев « всю географию », мы поздно вечером возвращаемся «домой» на Диксон.

Усталые, довольные. А довольные, очень довольные потому, что сегодня двадцать седьмое число, а у нас не только дневная санитарная норма выполнена, но и месячная увеличенная, т.е. сто двадцать часов. Это по персональному разрешению Марка Ивановича Шевелева – Начальника Полярной Авиации. Я еще раз вернусь к понятию о санитарной норме налета, это очень важно для понятия дальнейших событий. Санитарная норма налета – это максимальный разрешенный налет дневной и месячный, дневной – 8 часов, месячный – 100 часов. В случае большой необходимости, по персональному разрешению М.И. Шевелева, эта норма могла быть увеличена соответственно до 10 и 120 часов.

У нас это разрешение было и это значит, что никто, повторю – НИКТО, не мог приказать нам подняться в воздух до первого дня следующего месяца.

А тут еще Костя, механик наш, обнаруживает, что по прилету самолет наш становится на трехсотчасовые регламентные работы по двигателям, которые делятся обычно три – четыре дня. Невероятное совпадение и всеобщее ликование! Три дня отдыха, полная гарантия, стопроцентная, абсолютная!!

Прилетели, сдали самолет и документы, привели себя в порядок, накрыли стол, а у нас всегда с собой было, и «врезали» как следует! Нет, конечно не «до поросычьего визга», не алкаши собрались, но... в общем хорошо выпили и разбрелись по постелям. И вот когда я уставший, намерзшийся, хорошо выпивший, почувствовал, что вот я уже проваливаюсь в какую-то блаженную тьму, я вначале услышал скрип двери, а потом легкое похлопывание по ноге и голос дежурной: – Штурман, к телефону! Еще мало что соображая, выхожу в коридор, беру трубку. Звонит диспетчер, Володя Татаринов: – Марк, срочный сан. рейс на Грем-Бэлл! У меня внутри все ухнуло куда-то вниз, сразу закрутились мысли: на прямую – 1200 километров, на обратную дорогу не хватит баз заправки (а там ее нет), значит через Средний – 1600, это около

восьми часов в один конец, итого шестнадцать часов чистого воздуха, это, по меньшей мере, около двух суток работы, а мы уже сутки на ногах, да еще... Кошмар!!! А Володя, между тем, рассказывает, что там, на Грем-Бэлл, у солдатики из какой-то роты связи случился приступ аппендицита. Есть врач, капитан, но он не хирург. Благо там, как рояль в кустах, рядом находился ледокол «Ленинград», и вот там, на ледоколе два горе-хирурга парня оперировали, ничего толком сделать не смогли, зашили, и у него начался перитонит. Связались по своим военным каналам с Москвой. Оттуда, из штаба, позволили в Управление Полярной Авиации, и Марк Иванович приказал экипажу Векслера немедленно вывезти больного на материк.

Я, конечно, понимал всю безвыходность положения, но инстинктивно сделал какую-то хилую попытку что-то изменить. Разговор наш был примерно такой, да не примерно, а я его почти дословно помню:

– Володя, мы ведь десять часов сегодня нале..

– Марк, срочный сан. рейс, ты что!

– Володя, но у нас же месячная кончилась – 120 часов!

– Ты что, не понимаешь о чем речь идет? Ох... Совсем?

– А самолет, Вова, у нас же трехсотчасовые по движкам, их, наверно, уже по частям раскидали..

В ответ я услышал что-то среднее между ревом, криком, визгом, и все это с поминовением всех моих родственников, апостолов, самого Господа Бога и прочая и прочая и прочая...

Мы дали вам отдохнуть четыре с половиной часа, самолет готов, двигатели прогреты; давайте, ребята, не чешитесь.

– Ладно, Володя, поднимаю экипаж. Вылет через два часа. С этого времени открыть дежурство в Нагурии, на Среднем, Хатанга, Амдерма, Усть-Кара, Эклинс; вахту открыть на островах Русском, Сбирякова, Визе, Успения, Уединения, Рудольфа, Виктории...

Тут маленькое пояснение: со времени нашего вылета нам

нужна готовность всех аэродромов Карского моря к нашему приему, если обстановка потребует, и радиобахта на всех полярных станциях для связи, на всякий случай.

И обратите внимание: ни мне даже в голову не пришло отказаться от полета, прикрывшись инструкциями, законами, ни диспетчеру: мол, — как вы, ребята, можете слетать, ведь у вас уже норма, ну и т.д. Нет, здесь, в подобном случае, в нарушение всех авиационных правил и законов, действующих на «материке», вступает в силу другой закон, закон Арктики, хотя и не писанный: без нашей помощи человек погибнет и только мы, экипаж, можем решать, оценив обстановку, погоду и свои возможности: можем мы вылетать, или нет. Это именно тот самый случай, когда все предусмотреть невозможно. Возвращаюсь в комнату, включаю свет: — Подъем, мужики!!! Поднимаются уже заспанные головы: что, куда, зачем? Я их радую, что «только» на Грем-Бэлл, что погода — хуже не бывает, но — НАДО.

Идем в мед. пункт. Там Лена, молодой доктор, но уже старая полярница, смотрит на нас дикими глазами: — Как вы, мальчики? Меряет пульс — у всех колотит под 120, пишет всем по 70 — 80, она тоже все понимает. А ведь ей с нами лететь надо! Ей надо больного сопровождать на обратном пути.

Ну, пропустив подготовку, — взлетаем. Вы знаете, что такое Закон подлости? Не знаете, так я вам расскажу. В нашем случае — это когда на наши уже сутки не спавшие и далеко не очень свежие головы Бог погоды бросает все самое гадостное, что только у него есть в запасе. Сразу после взлета входим в сплошную облачность и тут же начинается сильнейшее обледенение. Лезем вверх, машина еле-еле набирает высоту. Костя включает антиобледенительные системы и увеличивает мощность двигателей почти до полной. На лобовые стекла пилотов и на винты начал поступать спирт, смывая с них лед. Куски льда с винтов по фюзеляжу ударяют как кувалдами, грохот стоит страшный. Но это их дела, т.е. пилотов и механика, а у

механика, а у меня своя забота: страшный боковой ветер до ста-ста двадцати км. в час. Но дело не в силе ветра, если ветер постоянный по силе и направлению, то это не проблема: учесть его и взять поправку — это элементарно, но он резко меняется с высотой и вот тут приходится крутиться, а в снежных зарядах и радиокompас неустойчиво работает, и пеленги из-за этого с Диксона идут неточные, в общем — все двадцать четыре удовольствия! Пробиваемся вверх, обледеневший самолет с большим трудом по метру набирает высоту: две, три тысячи метров, четыре, полная мощиость, скорость падает... И только на четыре тысячи семьсот метров мы вышли за облака. Такая высокая облачность здесь бывает очень редко, это все тот же закон подлости, и в связи с этим, другая опасность: даже на свежие и здоровые головы, начиная с 4000 метров надо, по всем человеческим и божеским законам, натягивать кислородные маски, а уж на наши... А на Ли-2 ни масок, ни кислорода никогда и не было, он редко на такие высоты поднимается, во всяком случае, для меня это был первый и последний раз. Леночка время от времени заходит к нам в кабину: — Как вы, мальчики, себя чувствуете? Может помочь чем? У меня все есть. Мы ее, конечно, успокаиваем, а сами друг за другом посматриваем: мало ли что!

Подходим к Северной Земле, связываемся со Средним, погода там для посадки плохая, минимум, т.е. — низкая облачность — сто метров и видимость — около тысячи метров, и сильный ветер не по полосе. Опять весь джентльменский набор от Бога погоды, но это не самое страшное: гораздо хуже то, что система слепой посадки ОСП-48, состоящая из двух радиомаяков, стоящих строго по оси взлетно-посадочной полосы, по которой мы должны строить маневр захода на посадку вне видимости земли — не работает, что-то у военных там не дадится с запуском, а система в их распоряжении. Кое-как, используя радиостанцию наземного радиста как радиомаяк, со второго захода — сели. Часа два ушло на заправку и столовую,

взлетели и пошли на запад, на З.Ф. И, (не забыли еще, что это такое?), на о. Грем-Бэлл. Впереди четыре с лишним часа. На этот раз полет спокойный, хмель прошел, но смертельно хочется спать. Пилотам проще: самолет идет на автопилоте, они отдыхают по очереди, у Кости вообще нет проблем: сладко спит, прислонившись к переборке. Радисту – сложнее: он все время собирает погоду со всей Арктики и передает мне, у меня на столе уже целая пачка этих бумажек с погодой, но и у него время от времени выпадает 15 – 20 минут для сна, а это, поверьте, существенно.

А вот мне, штурману, нельзя спать не минуты, это просто исключено, спасает только кофе. У меня было три полные банки, по прилете на Диксон – я их выбросил пустыми. Вначале я клал в чашку две ложки, как обычно, потом по три, по четыре, по пять! Только благодаря этому и, наверно, еще чувству ответственности (поверьте: там это было не отвлечение – понятие) я сумел благополучно закончить всю эту двухсуточную эпопею. Но это я уже немного забежал вперед, а пока мы подходим к Грем-Бэллу; дали им время прибытия и команду – везти больного с «Ленинграда» на остров и к нам на «купол», где мы садимся. Дело в том, что большинство арктических островов имеют такую вот куполообразную, а точнее – чечевицеобразную форму, т.е. вид очень плоского купола. В основании всех этих островов – низкое плоское каменное основание, и на нем гигантский ледяной покров, толщина которого плавно возрастает к центру острова и доходит, в зависимости от размеров острова, до нескольких сот метров. Когда мы говорим о посадке на куполе, то имеется ввиду посадка на самой верхней точке острова. Там всегда идеальная ровная поверхность, нет, и не может быть никаких препятствий: ни естественных, ни искусственных и для посадки нужно знать только направление ветра, а для этого у нас на борту всегда есть дымовые шашки. Около домиков, где живут солдаты, на побережье, есть площадка, но ее надо готовить

раскатывать, это тяжелая и длительная работа, а еще накануне они и не мечтали о самолете в ближайшие несколько месяцев.

Сели, вокруг – ни звука, ни огонька на многие километры, только сверху луна ухмыляется, а у нас внизу – мороз под тридцать градусов и ветер 10-12 метров в секунду. И вот именно поэтому за три с половиной часа ожидания нам не удалось и тут поспать ни одной минуты. Почему? При сильном морозе, да еще с сильным ветром, моторы остывают очень быстро, допустить переохлаждение – крышка, подогревать нечем, значит надо через каждые 15-20 минут прогревать их. А потом надо же зачехлить их! А чехлы толстые, страшно тяжелые, мы все вместе еле справляемся с ними, а время идет. Только отдышались, оттерли побелевшие носы, перекурили, а этот варвар Константин, уже орет диким голосом: – Все на движки – расчехлять! И так все время до самого прибытия вездехода с почти умиравшим солдатиком. Когда мы увидели огни приближавшегося вездехода – заранее подготовились, запустились, и через минуту-две после того, как солдата на носилках внесли в самолет – мы поднялись в воздух.

Идем опять на Северную Землю, на Средний, на заправку. Получаем погоду и прогноз Диксона: погода на пределе, а прогноз совсем паршивый, поэтому на всякий случай кроме полной заправки, т.е. – четырех крыльевых баков – залили и дополнительный внутрifuзеляжный бак. Леночка наша время от времени появляется в кабине с заплаканными глазами: парню совсем плохо, теряет сознание, она ему постоянно делает уколы, вводит три лекарства: что-то сердечное, антибиотики и что-то еще. И нам в глаза заглядывает: – Ну, как вы тут, мальчики, есть еще силы? Спать хочется смертельно, кофе пью почти непрерывно, разминаюсь, подтягиваюсь, отжимаюсь. Надо продержаться, выхода нет, меня тут никто заменить не может. Эти двое суток были для меня наверно самым большим испытанием в жизни. Идем часа два, в больнице на Диксоне хирурги уже стоят с засученными рукавами и вдруг

радиограмма: на Диксоне туман, нам приказано вернуться на Средний. Разворачиваемся, приказ есть приказ, а от радиста требуем: — Давай, Коля, давай, дорогой, хоть через Москву добивайся разрешения опять развернуться на Диксон, ведь погибнет парень — на Среднем ему никто не поможет! В конце концов, разрешение получено, опять разворачиваемся, а время идет, а топливо выгорает. Подходим к Диксону — туман и видимость — пятьсот метров!

Решаем идти на Хатангу, это районный центр, там большой поселок и наш аэродром, и есть больница. И еще Хатанга — это одно из самых лучших мест по погодным условиям: по статистике там всего шесть-восемь дней с плохой погодой. Связываемся с Хатангой, ждут, операционная готова. Проходим половину дороги, это примерно два-два с половиной часа и вдруг (вы, наверное, уже догадались) опять радио: туман, в Хатанге не принимают! Опять Закон подлости свое звериное рыло высовывает!

Еще раз разворачиваемся в сторону Диксона. А что делать? Но уже не очень на него рассчитываем; все время берем фактическую погоду: туман, туман, туман. Когда мы проходим Диксон — там уже видимость сто метров, и мы получаем приказание — следовать в Амдерму, это еще около пяти часов полета. Считаю и пересчитываю горячее: до Амдермы не хватит навстречки, а вот до Усть-Кары вроде бы должно хватить, это маленький аэродром, где есть заправка. Костя подбирает двигателям экономичный режим; это режим максимальной дальности, при котором, при даже несколько меньшей скорости, можно пройти максимальное расстояние. Больному нашему все хуже, Лена — в слезах. Ей тоже, бедной, достается еще как. Нас успокаивает хоть то, что впереди, т.е. в районе Усть-Кары, Амдермы, Воркуты — погода и прогнозы прекрасные. Считаю и пересчитываю остаток топлива, вроде бы должны дотянуть. Проходим полуостров Ямал, загораются две сигнальные лампочки остатка горючего: примерно на



Июль 1984 года

тридцать минут. А нам только залив перетянуть, только шесть-десять-семьдесят километров, а там на берегу и аэродром. Короче — сели «на красных лампочках», то есть на снижении за несколько минут до посадки загорелись красные сигнальные лампочки, которые сказали нам: — РЕБЯТА, ЛЕТЕТЬ ВАМ ОСТАЛОСЬ ПЯТНАДЦАТЬ МИНУТ! Поверьте мне: очень неприятно видеть такой сигнал в воздухе, да еще ночью. Ну, сели, за несколько минут заправились немного и полетели мы в Воркуту, это большой город, есть хороший военный госпиталь,

лету до него примерно полтора часа.

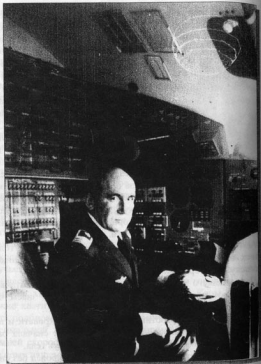
А там нас уже встречают!!! У самолета целая толпа человек из двадцати во главе с генералом — начальником медсанслужбы Воркуты.

Парня нашего мгновенно в «санитарку» и в госпиталь, а нас обнимают, поздравляют, благодарят, говорят, — знаем, что вы около пятнадцати часов летели, беспокоились...

Ну вот, пришли в гостиницу, попадали на кровати и все заснули по системе «храп-стук», что означает: сначала раздается храп, а потом — стук падающего на кровать тела.

Я прикинул потом: сколько же времени я провел без сна? Оказалось, что я не спал больше трех суток, а если более точно — трое суток и шесть часов. И не только не спал, но и сохранил работоспособность. В противном случае — я бы не писал сейчас этот рассказ.

А когда мы уже начинали постепенно просыпаться,



Штурманская кабина моего
последнего самолета -
ИЛ-62

приходить в себя, в дверь постучали и в комнату ввалились пять или шесть человек военных во главе с вчерашним генералом, и водрузили на стол большую коробку, из которой торчали горлышки бутылок, колбаса, копченые хвосты....

— Ребята, солдатик — живой! Его уже прооперировали, все в порядке! А вам Марк Иванович дал два дня отдыха, вместо вас там эти дни ледовый разведчик подежурит. Так что вставайте, приводите себя в порядок — и садитесь за стол. Это надо отметить!

А потом мы продолжили свое дежурство. Обычное дежурство на Диксоне.

P.S. По прилете в Москву, мы оформили отпуск, получили деньги и разъехались по домам. На следующий день мы с Ниной улетели в Киев. В один из первых дней нам захотелось прогуляться по Днепру. Мы пришли на пристань, купили билеты, зашли на подошедший прогулочный пароходик, поднялись на верхнюю палубу, почти заполненную пассажирами; стали искать место, и вдруг я увидел почему-то свободную самую переднюю скамейку. Подходим: — Смотри, Нинок, как специально для нас капитанские места свободны! — и садимся. Задни раздается голос: — Здорово, капитан! Поворачиваемся — за нами сидит с женой наш второй пилот Лева Семенов!

Так все-таки — летают летчики пьяными, или нет?

Нет, конечно.

Боевая тревога

Америка, Америка... Кто бы мог подумать, мы с Ниной путешествуем по Америке! До шестидесяти лет я за границей не был, и не рассчитывал на это в дальнейшем: ну на что мог рассчитывать простой полярный летчик, живущий на зарплату! И тут вдруг – Израиль, высокий статус человека, живущего на пособие по старости, да еще и подрабатывающий немного, как тот царь у Шолом-Алейхема. Правда, – ошито еще трешницу подрабатывал, а я – переплетным делом (пригодилось старое московское хобби), и чуть больше дозволенной мне суммы. Ну, так или иначе, побывали мы во многих европейских странах, и потянуло нас в Америку. Тем более что там сейчас много у нас и друзей, и родственников.

И вот, после двенадцатичасового перелета, мы в Америке. Неделя в Торонто, две недели в Лос-Анджелесе, четыре дня в Лас-Вегасе, Шарлот, Бостон. И, наконец, – Нью-Йорк! Получилось так, что на те несколько дней, что оставались до самолета, в нашем полном распоряжении оказалась квартира в Бруклине. Обо всем, что мы увидели в Америке, можно рассказывать сколько угодно и написать целую книгу. Один Брайтон-Бич чего стоит! Но обо всем этом уже все давно рассказано и все написано.

И, кроме того, я совсем не собираюсь писать путевые заметки или, в любом другом виде описывать наше путешествие. Это только так, вроде вступления. Главное, что мы с Ниной уже в Нью-Йорке и едем с нашим новым знакомым, моим тезкой, Мариком, на его машине по городу. Кстати: эту прогулку по городу мы пытались совершить накануне, но из-за какого-то международного автопробега все мосты на Манхэттен были перекрыты и мы, помыкавшись целый час, так и вернулись домой, не солоно хлебавши. До этого мы думали с

Ниней, что только в Москве могли, скажем, перекрыть весь город из-за какого-нибудь велопробега в честь ...летнего юбилея Ленинского Комсомола. Но чтобы так же перекрыть Нью-Йорк! Прервать наземное сообщение между четырехмиллионным районом Бруклина и Манхэттеном, деловым центром Нью-Йорка!! До сих пор – уму непостижимо!

Итак, едем по Нью-Йорку, крутим головами во все стороны, масса новых впечатлений: все новое, необычное, гигантское. Сворачиваем в сторону порта и едем по набережной. Справа – небоскребы, слева тянутся причалы, стоят громадные корабли.

И вдруг – что такое? Не может быть!!!! Стоит, уткнувшись носом в пирс, огромный авианосец, а на палубе – самолеты, боевые машины периода Второй Мировой Войны! И на борту – уже немного потускневшими буквами название – «Интерпрайз»!!!

– Марик, стой, остановись на минуту! Но останавливаться там было нельзя, и мы поехали дальше. И авианосец проскользнул, как видение, за какие-то полминуты. Больше его не видел. Но сразу нахлынули воспоминания...



*Авианосец «Интерпрайз»
у пирса в Нью-Йорке*

прежде всего, Америки и Англии. В центре аудитории большой стол с бортиками со всех четырех сторон, а на нем сотни

Год 1950-й, Военно-Морское Минно-Торпедное Училище, город Николаев. Класс – «Тактика ВМС». На стенах развешены плакаты с фотографиями, схемами и тактико-техническими данными кораблей и самолетов «вероятного противника», т. е.,

точных, выполненных в масштабе, макетов морских транспортов и боевых кораблей Америки и Англии. И каждый из них мы должны опознать с первого взгляда. И не только опознать. Если это транспорт, то – сухогруз или танкер, водоизмещение, примерные размеры. А если это боевой корабль, то и того больше: вот показывает преподаватель, был у нас капитан 2-го ранга Герой Советского Союза, проходивший всю войну на торпедных катерах, так вот показывает он кораблик сантиметров двадцать длиной: это что? И я должен мгновенно выдать: «Линкор типа «Айова», водоизмещение 50000 тонн, скорость хода до 33-х узлов, длина 300 метров, ширина 33, три трех орудийных башни, калибр орудий–406 миллиметров, экипаж 2800 человек». Или так: «Авианосец «Энтерпрайз» водоизмещением сорок пять тысяч тонн, девяносто самолетов, длина – двести семьдесят метров, скорость – тридцать пять узлов». И так я должен опознать любой из сотни кораблей.

И вот там, на занятиях по Тактике ВМС, мы всерьез занимались подробным изучением всех боевых кораблей Америки, это прежде всего, и Англии, их возможностей, вооружения. Ведь в случае войны, а для этого нас и готовили, именно они становились нашей целью, нашим главным противником. И мы узнали тогда – что же это такое – настоящий авианосец. Представьте себе: аэродром, на котором базируется целая авиационная дивизия, т.е. шестьдесят, восемьдесят, сто боевых самолетов! С ангарами под взлетной палубой, сотнями летчиков и многими сотнями авиационно-технического персонала, громадными хранилищами авиационного топлива и масла (на целую дивизию на несколько месяцев боевых действий!), авиационных торпед, бомб, и боеприпасов для стрелкового вооружения самолетов. Это, – не считая того, что необходимо самому гигантскому кораблю. А это: экипаж три тысячи человек, которых надо обеспечить всем необходимым запас горючего для своих машин, огромное количество боеприпасов для собственной защиты, включающей в себя сотни

стволов зенитной (в первую очередь) артиллерии, создающей почти непроходимую огневую завесу навстречу атакующим самолетам.

И эта гигантская боевая мощь, этот аэродром с сотней готовых к нападению самолетов, несется со скоростью курьерского поезда в любую точку мирового океана, да еще в сопровождении сильного охранения из эсминцев, сторожевых кораблей, кораблей противолодочной обороны, и других судов. Вот, примерно, что такое – авианосец.

В середине восьмидесятых годов прошлого века (и прошлого тысячелетия) я отдыхал в санатории около Сухуми. Это был военный санаторий. И там я познакомился и сдружился с одним моряком, капитаном первого ранга, командиром дивизии атомных подводных лодок Северного флота. У нас собралась дружная компания: Коля с женой и сыном, один капитан-врач, полковник генерального штаба (который, как оказалось, жил в соседнем со мной доме) и я. Мы весело проводили время. Подходил Новый Год, который мы решили встречать не в душном номере, а на пирсе, на берегу моря. Принесли мы туда все наши запасы (а их было, поверьте, немало), открыли бутылки, разложили закуски. А часы уже отсчитывали последние минуты. И тут мы с Колей «на глазах изумленной публики» быстро начали раздеваться, начиная с зимних шапок и пальто, и нырнули в воду. Нина, его жена (не удивляйтесь: минимум пятьдесят процентов всех моих родных и знакомых женщин – это Нины, начиная с моей первой юношеской любви – Ниночки Денисовой), забежала по пирсу с паническим криком: – Мальчики, простудитесь, вылезайте скорей!

А мы в ответ: – Наливайте быстро, время выходит!!

Так и встретили Новый Год, стоя по шею в воде и с бокалами армянского коньяка в руках. Так вот Николай мне рассказывал, что однажды он был на своей лодке в Средиземном море во время больших учений американского флота. И вот, подняв перископ, он увидел гигантский атомный авианосец «Нимитц», да еще во время активной работы: взлетали, са-

дились самолеты... А дальше я воспроизведу его последнюю фразу дословно: – Ты знаешь, Марк, когда я увидел его, я не думал о том, что это, возможно, наш будущий противник, что у нас, к сожалению, нет ничего подобного. Нет. В этот момент я почувствовал гордость за человечество, создавшее это чудо!

Прерываю рассказ. Сегодня 26-е апреля 2004 года, восемь часов вечера. Закончился День памяти погибших в войнах Израиля и начался День Независимости Израиля. До вчерашнего дня погибших было 21781 человек, вчера погибших стало на одного больше, 21782: в результате тер. акта погиб солдат. Нападавшие были уничтожены, но нам от этого не легче... Здесь люди могут сказать, положи руку на сердце: никто не забыт, и ничто не забыто. КАЖДЫЙ израильский солдат вынесен с поля боя и похоронен с воинскими почестями. Только, если не ошибаюсь, три, ТРИ солдата, три танкиста, погибли в бою в 1973 году, но тела их не найдены. И страна до сих пор это переживает и надеется найти и похоронить их с должными воинскими почестями. И еще один летчик, Рон Арад, семнадцать лет назад попал в плен, выпрыгнув с подбитого с земли самолета, и судьба его неизвестна. И Израиль все эти годы, до сегодняшнего дня всеми силами, по дипломатическим каналам, через глав многих государств и всеми другими доступными средствами пытается вернуть Рона Арада, если он жив, или хотя бы что-то узнать о его судьбе, если его уже нет в живых. В стране нет человека, который бы не слышал о Роне Араде.

Для чего я это рассказываю, ведь любой израильтянин все это хорошо знает, ни одного нового слова я не сказал. Но я надеюсь, что и мои друзья в России будут читать эти мои записки. Вот к ним я сейчас и обращаюсь. И еще об одном я хочу рассказать вам, дорогие мои друзья-москвичи. О том, что вы никогда не видели, и никогда не увидите, разве что только будете у меня в гостях в этот день.

Сегодня в одиннадцать часов утра по всей стране загудели

Сегодня в одиннадцать часов утра по всей стране загудели сирены в честь памяти солдат, погибших в войнах. Они гудели две минуты. И на эти две минуты замер весь Израиль от Голанских высот на севере, до Эйлата на юге. Люди замерли там, где их застала сирена: на тротуаре, или посреди проезжей части при переходе улицы, люди встали и замерли на работе, в кафе и закусочных, на рынках и в магазинах. На городских улицах и на междугородных шоссе остановились автобусы и все пассажиры, и водители стояли. В легковых машинах стоять нельзя, они все стояли с распахнутыми дверями, а рядом стояли водители и пассажиры. Люди вставали и замирали в своих квартирах!!!! Такое можно увидеть только в Израиле!!!

...Изучали мы, конечно, не только корабли, но и самолеты «будущего вероятного противника», также учились опознавать их с одного взгляда. Некоторые из них мы называли, почему-то очень странно: наполовину по-английски, наполовину по-русски. Был такой английский истребитель «Кинг Джордж фиф» – «Король Георг пятый», так у нас он назывался «Кинг Джордж пятый». А почему я это вспомнил? А потому, что мы эту манеру сперли у моего младшего внука. И не говорите мне, что этого не может быть потому, что Йонька родился через полвека после рождения этой машины. Это не имеет, ровным счетом никакого значения! Однажды я зашел в комнату детей и трехлетний Йонька, увидев меня, заорал: – Деда, тирэ, ани кусаю! Для неграмотных: тирэ – это значит смотри, ани – это значит – я. Кусаю – это значит...правильно понимаете! Еще раз прошу прощения у израильских друзей-читателей. Это не для вас, это для неграмотных читателей-москвичей.

...Все мы, в той или иной степени, помним события, связанные с так называемым «Карибским кризисом». Это было серьезно, мир был на грани 3-й Мировой войны. Это действительно так. Но я беру на себя смелость утверждать, что еще за десять лет до этого был момент, когда эта грань была

куда тоньше, и к войне мы были куда ближе. Нас отделяло от начала 3-й Мировой войны несколько минут. Об этих событиях мало кто знает. О них почему-то не писали, не говорили, очевидно была причина для этого, не мне судить. Но я был свидетелем, и непосредственным участником этих событий, и об этом я хочу сейчас рассказать.

...Лето тысяча девятьсот пятьдесят второго года, аэродром «Романовка». Я – штурман самолета 1535-го Гвардейского Киркинесского, орденов ..., ..., ..., авиационного минно-торпедного полка 3-й Дивизии ВВС Тихоокеанского флота.

Разгар «холодной войны». Рядом, в Корее, война настоящая. Американцы участвуют – не скрывая, а мы, как обычно, посылали только «добровольцев и военных советников», (больше – летчиков, и почему-то добровольцев – целыми полками).

Неожиданно пронесся слух о ЧП: звено наших истребителей (две пары), находившееся невдалеке от обнаруженного нашей воздушной разведкой авианосца в Японском море, неожиданно было атаковано двенадцатью истребителями «Шутинг Стар». Три наших машины были сбиты, четвертый доложил о случившемся. С наших аэродромов и с авианосца начали взлетать истребители, и драку как-то удалось предотвратить в последнюю минуту. Больше добавить об этой истории ничего не могу. Никакого официального сообщения или приказа об этом не было. Вот только то, что мы слышали тогда. А жизнь продолжалась как обычно: теоретические занятия, полеты по плану боевой подготовки: маршрутные полеты, полеты на бомбометание, торпедометание, на постановку мин, на разведку. Летали, прямо скажем, очень мало – один или, может быть, два раза в неделю, больше в классах сидели, теорией занимались, мат. часть учили. Все это порядком надоело, порой это выливалось в довольно смешные истории.

Сидим в эскадрилье, занимаемся чем-то. Жаркий летний день, а мы «паримся» в классе, слушаем в какой уж раз какую-

то ерунду. Наконец командир эскадрильи, майор Воробьев, мужик богатырского роста и с богатырским же басом, объявляет перерыв. Сидим в теньке у стены штаба, покуриваем своей «Беломор», болтаем о чем-то. И тут у кого-то случайно в руках оказывается монета, он ударяет ее ребром о станку, она отскакивает и падает на землю. Кто-то еще кричит: – Стой, не поднимай, дай-ка я ударю! В общем, вот так, с шутки, началась игра в «пристенку», все, наверно, помнят, что это такое. Увлечлись, забыли про занятия. Где-то через полчаса вываливается из штаба Воробей. Увидев, чем мы занимаемся, заорал на весь аэродром: – Вы, офицеры, летчики, как пацаны, как вам не стыдно, а ну быстро на занятия!! Мы виновато начали, было собирать свои монеты, а он вдруг кому-то: – А ну-ка дай пятак! Ударил о стенку, монета упала где-то посреди наших. Он дотянулся своей громадной лапой почти до всех монет, собрал их в карман.

– Эх вы, – говорит, – салаги, а еще играть взялись!

Ну, что вам говорить: через час я побежал в магазин разминывать деньги (как самый молодой), и так до конца рабочего дня.

...Просыпаюсь от сильного стука в окно. Только-только начинает рассветать, в окне фигура посыльного: – Тревога! Вскрываю, быстро одеваюсь, хватаю планшет с картами, дежурный чемоданчик и бегом в эскадрилью. Тревоги бывали уже не один раз: то полковая, то – дивизионная, учения обычно с поднятия по тревоге начинаются. Но, как правило, это просто проверка времени сбора эскадрильи, полка. Около штаба всех встречает адъютант эскадрильи, старший лейтенант Меллон (странный фамилия, но – явно не славянская):

– Никакого построения, получить оружие, и на стоянку: готовить самолеты!

Ну, думаю, не иначе – дивизионные учения начинаются. И Шмага мой так же думает, это мой летчик – Шмачков. Вылезнар Владимирович. Вылезнар, это значит, если распи-

фровать: Выше Держи Знамя Революции! Во, мамочка, яростная большевичка, устроила любимому сыночку имечко!

Самолеты подготовлены, заплавлены. Новая команда: – Подвесить по четыре фугасные бомбы 250 кг. (ФАБ-250) и ввернуть боевые взрыватели АПУВ-1. Ого! Это уже серьезно! Не иначе, думаем, нас Командующий ВВС Флота проверяет! Дело в том, что даже самая большая бомба без взрывателя, это просто болванка, а с ввернутым взрывателем, это уже – более чем серьезно. Новая команда: взрыватели вывернуть, бомбы снять, подвесить по четыре ФАБ-500, ввернуть взрыватели АПУВ-1, установить на них задержку 2 секунды. Мы со Шмагой переглядываемся: не иначе – сам Главком Морской Авииации Генерал-полковник Преображенский прилетел нашу дивизию проверять. Тем более видим: к стоянкам второго полка нашей дивизии проехали машины-торпедовозы с боевыми торпедами, а за ними, в сопровождении автоматчиков, машина с взрывателями для них. Такого мы еще не видели!

Летный состав – в штаб полка! На стене большая схема: Залив Петра Великого, Владивосток. Группа кораблей с юга направляется к Заливу. Около схемы – Командир полка с указкой.

– Товарищи офицеры! Тревога не учебная, не учебно-боевая, тревога объявлена боевая. Вы поняли меня? Объявлена БОЕВАЯ тревога! Цель, о которой я буду докладывать – ФАКТИЧЕСКАЯ! Ордер американских кораблей в составе – авианосца «Энтерпрайз», двух эскадренных миноносцев, пяти сторожевых кораблей, корабля противолодочной обороны и четырех вспомогательных судов, работавший по Корее, неожиданно взял курс в сторону Главной базы Тихоокеанского Флота и, в настоящее время со скоростью тридцать узлов приближается к Заливу Петра Великого, то есть к границе наших территориальных вод. В данный момент он находится в сорока милях от нашей государственной границы, в точке с координатами ... градусов и ... минут широты, и ... градусов

и ... минут долготы и идет с курсом ... градусов. Боевая задача нашей дивизии – удар по авианосной эскадре. Главная цель – «Энтерпрайз»! Наш полк наносит бомбовый удар, второй полк работает в варианте низких торпедоносцев.

Штурманам! Десять минут на прокладку маршрута и расчеты – и по самолетам! Полк поведу я!

Тут я считаю необходимым сделать маленькое отступление. Речь идет об очень важном моменте нашей истории. И в описании этого события необходимо быть предельно точным, и предельно правдивым. Я не выдумываю ни одного слова, но могут быть тут какие-то мелкие ошибки памяти, как-то: количество и тип кораблей сопровождения, скорость хода. Кроме того, – я не пишу дату, не помню. Вы уж простите меня, но ведь это было пятьдесят два года назад, еще в прошлом тысячелетии! А насчет скорости: скорость хода кораблей измеряется в узлах. Один узел, это одна миля (1852м.) в час.

И, к сожалению, я должен сделать еще одну остановку в своем рассказе. Сегодня, 2.05.04. в своей машине была убита мать с пятью детьми, пятый должен был родиться через месяц. Два «борца за национальную независимость» стреляли в остановившуюся машину в упор, с пяти метров! Это не звери. Любой зверь по сравнению с ними – ангел! Оба были уничтожены подросшими солдатами, но нам от этого не легче...

Возвращаемся из Иерусалима обратно, в Романовку, в год 52-й.

...У машины встречают техник самолета и стрелок-радист, докладывают: – Самолет к вылету готов, оружие заряжено, боекомплект – полный. Оружие, это два крупнокалиберных пулемета УБ у стрелка-радиста в башенной установке, и пулемет ШКАС у меня, в самом носу. ШКАС, это – «Шпитальный – Комарникий авиационный скорострельный», он не крупнокалиберный, но скорострельность сумасшедшая – 1800 выстрелов в минуту!

Запуск! Одновременно запускается весь полк, грохот страшный.

Шмага задвигает свой фонарь, я закрываю люк своей кабины, сажусь, пристегиваюсь ремнями, ждем команды на выруливание. Слышим голос командира полка: — Сопка, я первый, разрешите выруливать! И ответ с вышки: — Выруливайте!

Что мы думали тогда, за несколько минут до вылета в атаку на американскую авианосную эскадру? Понимали ли мы, что это начало новой большой войны? Понимали ли мы, что наш полк шел на верную гибель? Для командования — наш полк предназначался, конечно, не для уничтожения авианосца, а для отвлечения внимания поднявшихся с авианосца истребителей, а затем и сотен (сотен!) стволов зенитной артиллерии, создающей сплошную завесу огня, от других частей (и не только нашей дивизии), которые в это время на высоте тридцать метров, с разных направлений, с торпедами, будут прорываться в атаку на «Энтерпрайз». Надо представлять себе — какая завидная цель для истребителей и зенитчиков — плотный строй полка старых, больших тихоходных самолетов, да еще на высоте всего тысяча двести метров!

Нет, не понимали мы этого тогда, а вернее — просто не думали об этом, не до этого было. Эти мысли пришли потом, через какое-то время.

...Первое звено — на взлетной полосе. Мы со Шмагой во втором звене, должны взлетать пятыми. Видим — второй полк с торпедами, тоже начинает вытягиваться в сторону взлетной.

Командир полка просит разрешение на взлет, ответа нет. Второй, третий раз просит, ответа нет, потом командир дивизии отвечает: — Минуту ждать! Так продолжалось несколько раз: Минуту ждать, Минуту ждать. Что происходило в эти минуты на нашем командном пункте, в Штабе ВВС и в Штабе флота, в Министерстве обороны, в Кремле и в Белом доме — я, естественно, не знаю и ничего объяснить не могу.

Минут через десять последовала команда: — Двигатели выключить, из самолетов не выходить, запуск по трем зеленым ракетам!

Часа три-четыре просидели в самолетах, потом зарулили на свои стоянки, бомбы и торпеды не снимали, и трое суток прожили в штабе и около него: привезли сено, раскладушки, палатки. Благо — погода была хорошая, ночи — теплые. Потом — отбой тревоги, бомбы и торпеды сняли, и на этом все кончилось.

Что там происходило в «высших сферах» я не знаю, но факт тот, что в те минуты, когда мы выруливали на взлетную, эскадра застопорила ход и стояла там, на месте три дня. А потом повернула обратно.

Вот такая была история.

Штрихи...

«В феврале 1917 года в России происходит революция, которая застает Ленина в Швейцарии. Николай II отрекается от престола. К власти приходит свободно выбранное народом Временное правительство, просуществовавшее восемь месяцев до большевистского переворота.

О Февральской революции Ленин узнал из газет. В тот же миг он начинает рваться в Россию. Но как попасть туда? Шла первая мировая война, Германия воевала с Россией. Проезд русского эмигранта через немецкую территорию и германский фронт был делом совершенно нелепым. Ленин начал строить фантастические планы – перелететь фронт на воздушном шаре, достать паспорт какого-нибудь иностранца из нейтральной страны и вклеить свою фотографию, и прочий «бред» как выразилась Крупская. И тут начинается еще одна ленинская тайна.

27 марта 1917 года Ленин и еще тридцать большевиков пересекают территорию Германии в предоставленном им отдельном вагоне со всеми удобствами и хорошим поваром. Выходить из вагона не разрешалось, поэтому Троцкий, в своих воспоминаниях, называет его «запломбированным». Крупская пишет «Никто у нас не спрашивал паспортов, никто не проверял наших вещей». Более того, на одной из промежуточных станций на два часа был задержан поезд германского кронпринца, чтобы пропустить вагон с Лениным и его командой. Это была виртуозно проведенная операция. Но как? Почему Германия пропустила большевиков через свою территорию?

Шло время, и тайное, как всегда стало явным. В печати появились сообщения, что между Лениным и германскими властями состоялось соглашение о том, что большевики брали на себя обязательство подрывать боеспособность русской армии, агитировать солдат за прекращение войны, за «опороченческую политику». За это кайзеровские власти не только

пропустили их через свою территорию, но фактически начали финансировать революцию, отпустив на это громадную сумму – 50 миллионов немецких марок. Это уже было пособничество врагу, подпадавшее под статьи военного трибунала.

Впервые эти сведения опубликовал в печати немецкий социал-демократ Эдуард Бернштейн, а спустя время, в конце второй мировой войны, когда американская армия захватила архивы Германского министерства иностранных дел, эти сведения были подтверждены документально. Само собой разумеется, что после опубликования Бернштейном этих секретных материалов Ленин поднял страшный крик, обвиняя Бернштейна в клевете. И тогда Бернштейн публично предложил большевикам привлечь его к суду. Он выразил готовность предстать перед любым судом. После этого крики затихли. Ни суда, ни расследования большевики не потребовали, что говорило само за себя.

Как пишет Лев Троцкий: «В печати появились сообщения, ссылавшиеся на документы министерства юстиции, что Ленин и его соратники являются попросту агентами германского гештапа....Власти издали распоряжение об аресте Ленина». Среди большевиков шли споры: являться ли Ленину на суд, чтобы «дать бой клевете», или скрыться. Многие из большевиков, которые, по-видимому, действительно не знали о тайном соглашении Ленина с Кайзеровской Германией, требовали явки его на суд, чтобы «очистить партию от клеветы», но сам Ленин решил иначе и скрылся в Финляндии.

6 ноября 1917 года в Петрограде происходит большевистский переворот. Временное правительство арестовано. В 22 часа 45 минут этого же вечера, в гриме и парике, Ленин возвращается из Финляндии. Большевики приходят к власти...»

Из книги С. Шульман «Власть и судьба», стр. 151-152

«...Через два часа после убийства Кирова Сталин вместе со своим ближайшим окружением, включая и главу НКВД Генриха Ягоду, выезжает специальным поездом из Москвы в Ленинград. Прибыв на следующее утро в Ленинград, Сталин встречает всех встречающих его на перроне отборным матом, а начальника Ленинградского НКВД дает пощечину. После этого он самолично устраивает допрос убийце Кирова. Говорят, когда Николаева привели в комнату для допроса, он упал перед Сталиным на колени и закричал: «Я сделал это по приказу партии!». А когда избитого до бессознательного состояния Николаева унесли из комнаты, Сталин будто бы повернулся к Генриху Ягоде и угрожающе бросил ему: «Мудак!». Впоследствии эти слова были расшифрованы так: «Кретин, не мог спрятать концы в воду!»

Начальник НКВД Ленинграда, получивший пощечину от Сталина, был арестован и отправлен в Сибирь. Но поехал он туда почему-то с необычным для арестанта комфортом, захватив с собой даже семью. Коллеги из Москвы еще долго посылали ему в Сибирь его любимые вина и новые музыкальные пластинки, которые он собирал. Одно то, что высокопоставленные друзья из НКВД продолжали общаться с арестованным, что было совершенно невозможно во времена Сталина, говорит о том, что это был не настоящий арест. И, тем не менее, в момент откровения, находясь как-то в больнице, мнимый арестант сказал врачу, что он все равно обречен, его уничтожат, так как он слишком много знает. Он оказался прав. Через несколько лет его тайно расстреляли. Как сказал один высокопоставленный со-

трудник НКВД своему другу: «Это дело настолько опасное, что лучше о нем знать как можно меньше».

Спустя много лет, уже после смерти Сталина, Никита Хрущев создаст специальную комиссию, чтобы разобраться в этом загадочном убийстве. Позднее, когда Хрущев ознакомится с материалами расследования, он спрячет их в сейф со словами: «Пока в мире существует империализм, мы не можем публиковать этот документ». Другими словами, он хотел сказать, что мы не можем признаться перед всем миром, что во главе государства стоял обыкновенный уголовник.

Материалы этой комиссии не опубликованы по сей день...

Оттуда же, стр. 216 - 217

Приведенная выше версия убийства Кирова бытует уже много лет. Но вот недавно вышла книга воспоминаний «главного террориста СССР» генерал-лейтенанта Павла Судоплатова, организатора убийства Льва Троцкого и многих других «мокрых» дел. Будучи главой сверхсекретного ведомства, генерал Судоплатов знал, конечно же, очень много тайн НКВД-КГБ, так что к его словам следует прислушаться. Он утверждает, что организатором убийства Кирова Сталин не был, но максимально использовал представившийся ему случай, чтобы «сфабриковать «заговор» и развязать кровавый террор в стране. По утверждению генерала убийцей-одиночкой был Николаев, совершивший этот акт из ревности. Его красивая молодая жена Мильда Драуле работала официанткой в Смольном и была любовницей Кирова. Как пишет генерал Судоплатов, Киров был весьма любвеобильным мужчиной и имел множество «наложниц» из числа балерин Большого театра и Ленинградского театра оперы и балета (может быть именно по этому театру и стал называться «имени Кирова?»), которые после убийства допрашивались сотрудниками НКВД. Об этой стороне жизни Кирова власть десятилетиями умалчивала, чтобы не нарушить «святого правила партии – никогда не приоткрывать занавес над личной жизнью членов Политбюро»... Через два-

три месяца Мильда Драуле и ее мать были безвинно казнены...

Описанное в книге Судоплатова «Спецоперации» полностью совпадает с тем, что рассказывал мне дядя Ефрем, это дядя Нины, мой жених. У этого человека удивительная и страшная судьба.

Ефрем работал на какой-то незначительной должности в Смольном. После убийства Кирова он получил «всего-навсего» пять лет ссылки, отбыл ее «от звонка – до звонка» и вернулся в Ленинград. На второй день по возвращении он на Невском «нок к носу» сталкивается со следователем, который вел его «дело».

– Таршис, почему ты в Ленинграде?

– Да вот, освободился, вернулся домой.

На другой день он был арестован и провел в тюрьмах, лагерях и ссылке ЕЩЕ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ! Вернулся, никого нет, семья погибла в блокаду. «Пришел один фашист, и уничтожил меня, пришел другой фашист, и уничтожил мою семью...» – писал Ефрем своей сестре, Полине Наумовне Таршис матери Нины, после того, как они нашли друг друга, – «на работу нигде не принимают, в партию не восстанавливают (когда мы боролись с оппозицией, а потом воевали с фашистами, вы были по другую сторону баррикады (это – безвинно в ГУЛАГе!), поэтому в восстановлении – отказать». Написал письмо то ли в горком, то ли в ЦК, не помню, примерно такого содержания: «Реабилитирован, на работу не принимают, жить не на что. Прошу отпустить за границу, ведь только в капиталистических странах безработные умирают от голода». Ему (кстати – историку по образованию) дали работу в книжном киоске в Доме учителя, это бывший Дворец Феликса Юсупова. Потом он стал работать электромонтером, и проработал там двадцать лет.

Но ведь историк не может жить только одним вворачиванием лампочек. И Ефрем начал изучать Дворец, историю семейства Юсуповых. А это, в свою очередь, привело к изучению всего «высшего света» Петербурга и самой царской се-

мьи, так как жена Феликса приходилась какой-то родственницей государю. А дальше – больше: во Дворце был убит Распутин, и участником этого убийства был Феликс Юсупов.

В конце концов, дядя Ефрем стал видным историком в Обществе по изучению истории старого Петербурга, и – «главным распутником» страны. Он был главным консультантом фильма «Агония», (но в титрах его, конечно, не было: ни-з-з-з-я!), книги Касвинова «Двадцать три ступеньки вниз», он приезжал в Москву для встречи с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, еще многим он давал какую-то информацию. Вот такой был человек.

Несмотря ни на что Ефрем Осипович остался жизнелюбивым человеком, даже, в какой-то степени, оптимистом. Причину этого я видел в том, что ему, как очень немногим, удалось... нет, не забыть, конечно, но как-то отстранить, постараться не жить воспоминаниями о пережитых ужасах. И это помогло ему сохранить голову, сохранить психику, остаться нормальным человеком. Он много мне рассказывал о каких-то бытовых мелочах, каких-то смешных моментах, даже веселых моментах (и такие, оказывается, были) тюремного и лагерного быта, но ни разу он не вспоминал при мне ни о каких ужасах, ни о каких страшных эпизодах. И это его спасало. Однажды его брат спросил:

– Скажи, Ефрем, правда ли, что в Семипалатинске, во время каких-то волнений, в лагерь вошли танки и давили людей?

– Правда. Было такое. Вошли танки и передавили много людей. Ну и что тут было такого необычного для них? Подумавшись, применили военную технику в мирных целях. Я расскажу тебе о гораздо более страшном случае. Жила одна молодая девушка, комсомолка, писала хорошие стихи, была замечена Корнеем Чуковским, который предрекал ей большое будущее. (Ефрем называл ее имя и фамилию, но я забыл, а думать не хочу). За какие-то «неправильные» высказывания – попала в лагерь. Увидев, что там творится, решила, что в лагере захватили власть уголовники, бандиты, фашисты, что

такого просто не может быть в Советской стране. И начала она писать во все инстанции об этом.

Приехал какой-то высокий генерал, приказал собрать всех ЗКов и сказал, что вот такая-то, настоящая комсомолка, настоящий советский человек, не побоялась и написала руководству о безобразиях, которые здесь творятся. Мы разберемся и накажем виновных. А пока, чтобы девушке не смогли отомстить, мы переведем ее в другой лагерь, с более легким режимом.

Посадили ее вместе с собой в машину, отъехали от лагеря на несколько километров и пристрелили. Вот это страшно. А то, что ты рассказываешь, подумаешь, применили военную технику...

Откуда эта история стала известной? Через несколько лет Чуковский при встрече с одним каким-то высокопоставленным генералом из «органов» вспомнил и попросил узнать о судьбе этой девушки. Сказал, что она была арестована и находилась в таком то лагере, а потом пропала. И через некоторое время он услышал то, что я сейчас рассказал.

Но далеко не всем удалось так себя сохранить, как Ефрему.

Когда он приехал в Москву, он очень хотел встретиться с одним своим приятелем по ГУЛАГу, профессором, партийным работником, последние годы работавшим у Пономарева (был такой партийный «бонза» на самом верху). Но вот как-то не получалось поговорить с ним даже по телефону, все жена брала трубку и, под разными предлогами, не допускала до разговора. Наконец дозвонился, договорился и, радостный, уехал на встречу. Возвращается — лица на нем нет, смотреть страшно...

— Что такое, Ефрем Осипович, что случилось?

— Приехал я, обрадовались друг другу, поговорили немножко, а потом он говорит: — Ты знаешь, Ефрем...

И тут вдруг у Ефрема спазмы в горле, он не может говорить, дрожит, на глазах слезы. Отдохнул, пришел в себя, опять начал рассказывать, и опять на том же месте — то же самое. И так три раза. Я уж и сам не рад, не надо, — говорю, — об этом потом как-нибудь. Наконец он пересидел себя и рассказы

мне: — А потом он мне говорит — Ты знаешь, Ефрем, я постепенно схожу с ума. Я понимаю это, но ничего не могу с собой сделать. Мне каждую ночь снится лагерь, лагерный кошмар. У каждого это бывает, но человек просыпается, видит родную обстановку, свою комнату, и думает: слава Богу, это был только сон! И у меня вначале так было. А потом это состояние жуткого кошмара стало сохраняться какое-то время после того, как я просыпался. Сначала это продолжалось несколько минут, потом больше, больше, полчаса, час! Ты можешь себе представить, Ефрем, даже один час — в состоянии страшного ужаса, от которого кровь стынет в жилах!? А сейчас это жуткое состояние каждое утро продолжается около двух часов! Я понимаю, Ефрем, наступает безумие...

Вот такую страшную историю рассказал мне Ефрем Осипович Таршис.

Так вот, вернемся к Сергею Миронычу, вернее — к его смерти.

Ефрем говорил мне (а это было где-то в 72-73 году, тогда существовала только одна единственная версия тех событий), что никакого заговора, конечно, не было, а двигала Николаевым единственно только ревность: мало того, что за что-то из партии исключили, так еще и молодая его жена, буфетчица в Смольном, была любовницей Кирова. Схватишься тут за пистолет!

— Да вот, — говорил Ефрем, — еще пишут, что накануне задержали Николаева около Смольного с пистолетом в кармане и отпустили! Доказательство заговора. Чушь! Нельзя судить о том времени с позиций сегодняшнего дня. У кого в то время, из работавших в Смольном не могло быть пистолета! А у него, кстати говоря, и разрешение было на пистолет. Другое дело, — говорил он, — что этот палач, убийца, уголовник, сумел прекрасно воспользоваться ситуацией, чтобы уничтожить всех своих врагов и все их окружение. И еще: — Когда, — рассказывал Ефрем, — я бежал, вместе со всеми по коридору в сторону кабинета Кирова, вижу — навстречу быстро идет приятель, colega: — Ты куда, пойдем отсюда, там убитый Киров лежит,

а рядом с ним – Николаев! И мы ушли из Смольного.

Это как-то не вязалось с тем, что было широко известно: Николаева же потом судили и расстреляли! А тут – лежал рядом с Кировым! Что-то тут не стыкуется, что-то тут не так! Я не мог не верить Ефрему: ведь очевидец же, можно сказать, а с другой стороны – тысячи раз слышал, читал... И вот недавно, это через несколько десятилетий, я прочитал в какой-то статье о том, что Николаев то ли потом в себя выстрелил, то ли с перепугу упал, но он действительно рядом с Кировым лежал без сознания. Вот так неожиданно появилось подтверждение того, что рассказывал Ефрем!

И вот еще один рассказ, имеющий отношение к тем же событиям. Были у нас с Ниной знакомые, очень близкие нам люди. Я бы сказал – друзья, если бы я не смотрел на него снизу вверх: он – это академик Михаил Александрович Коростовцев, историк, один из виднейших мировых египтологов (а я – просто историк-любитель). М.А. Коростовцев был начальником Отдела Древнего Востока Института востоковедения. Кстати от него я однажды услышал о том, что к ним новым директором назначили некоего Евгения Примакова. А на мой незадаченный вопрос: кто это такой, я, вроде бы, не слышал о таком большом историке, Михаил Александрович, ответил, что он, вообще-то и не историк, во всяком случае к науке он точно не имеет никакого отношения, а вот к органам...

Во время войны М.А. был представителем ТАСС в Египте. Сразу после возвращения был арестован и получил двадцать пять лет. И Валентина Михайловна получила свои десять лет: жена врага народа, да еще отказалась свидетельствовать против мужа.

Так вот, Валентина Михайловна рассказывала, что во главе их женской бригады была старая, с 35-го года в лагерях, зэчка, которую уважали даже уголовники. Только благодаря ей все женщины ее бригады остались живы. Это была жена того самого Николаева! И мы до сих пор (этот разговор был в

середине семидесятых) каждый год, в ее день рождения, собираемся у нее с тортиком и бутылочкой вина, и благодарим ее за то, что мы остались живы. Вот так.

Вот – думайте, что хотите, дорогие мои друзья-читатели! Не верить Валентине Михайловне у меня нет никаких оснований. Вот так!

И вот еще: кто знает, что в Советском Союзе была Комиссия по борьбе с проявлениями антисемитизма? Оказывается, была такая, при Академии Наук СССР. Председателем ее был академик Севиен, директор Института востоковедения, но фактически ей руководил его заместитель – Михаил Александрович Коростовцев. И относился к этому не формально: даже в то время (это семидесятые годы!) он сумел предотвратить издание нескольких уж очень антисемитских книжек то ли Иванова, то ли Евсеева, были такие, довольно известные антисемиты.

Когда я сказал ему однажды, что вот, мол, сегодня принят новый Паспорт, он тут же спросил: – А пятый пункт есть?

– Есть, Михаил Александрович, есть.

– Ну, значит и от этих ждать нечего!

В моем понятии это был один из немногих оставшихся представителей настоящей старой русской интеллигенции. Михаил Александрович происходил из очень древнего дворянского рода.

То ли в двенадцатом, то ли в тринадцатом веке, один из Великих князей, Иван Третий, женился на представительнице византийского императорского рода Софье Палеолог (надо же – начали со Сталина и Кирова, а докатились до Великих русских князей и Византийского императора!), в приданое которой была дана очень древняя и чрезвычайно ценная чудотворная икона, с которой вместе приехал и ее хранитель, какой-то инок, монах. Вот он-то и был основой того генеалогического...

Нет, ребята, я не могу, я просто должен отвлечься в этот

момент от темы и рассказать о том, что произошло вот в эту минуту. Вот написал я только что слово «генеалогического» вижу, что оно сразу подчеркнулось красной линией: ошибка в слове. Ну, бывает, думаю, слово то не часто встречается. Вызываю «Правописание», смотрю, — есть другой, правильный вариант. Я уж хотел нажать на кнопку: «Заменить», но в последнее мгновение присмотрелся: «гинекологическое»! Вот и верь после этого технике, хоть и самой современной!

...Так вот он то и был основой генеалогического древа, последней веточкой которого был маленький мальчик Миша Коростовцев. И целая толстая книга обо всех его предках, начиная с того монаха (ничего себе монашек был!) была посвящена маленькому Мише его дедом, ректором Петербургского Института путей сообщения. Эта книга, какое-то время была у нас «на сохранении»: Михаил Александрович и Валентина Михайловна, были уже более чем пожилого возраста, время от времени лежали в больнице, а дома у них очень часто стали появляться люди и близкие, и не очень...

Об этом человеке я бы мог рассказать много, но не думаю, что все это будет интересно людям, его не знавшим. Но о двух эпизодах, с ним связанных, я не могу удержаться и не рассказать.

По случаю избрания в академики, Михаил Александрович устроил банкет в ресторане «Националь», это один из лучших московских ресторанов, в самом начале улицы Горького. Снят был целый зал, народу было довольно много: друзья, сослуживцы, коллеги, ученики. И вот, в самый разгар веселья, когда все уже достаточно выпили, появились два официанта с плетенными корзинками, наполненными пустыми бутылками, и эти бутылки они начали незаметно выставлять на столы среди полных. Это заметили несколько молодых историков и, как бы это помогло сказать, сунули жуликам «в морду». Шум, скандал, прибежали «мэтр», скандал замял, извинились, пустые бутылки забрали, кажется даже и вместе с теми, которые мы опустошили.

А второй случай — не менее интересный, но еще более ве-

селый. Мы с Ниной были в Тбилиси. Пошли, конечно, в Исторический музей. На выходе нас (и не только нас, но и всех выходящих) остановил директор музея: — Я веду сейчас небольшую делегацию в «Золотую палату». Мы открываем ее очень редко, и я приглашаю вас присоединиться. А потом он проводил всю нашу группу к выходу. И уже на выходе, у подъезда, разговорились. Он сказал, что вот у него, конечно, интересное собрание грузинского золота, но вот, напротив, в филиале музея, там более интересное собрание, там древнее грузинское золото, редчайшая коллекция. Но она практически всегда закрыта, открывают ее только для очень больших людей, или для наших иностранных друзей. И тут Нина моя вякнула: — А у нас есть знакомый — большой друг грузинского народа!

— Кто?

— Историк, академик Михаил Александрович Коростовцев. (Тут я должен сказать, что он родился и учился в Тбилиси, часто там бывал и был очень высокого мнения о грузинской интеллигенции)

— Вах!!! Вы знаете Михаила Александровича???? Он недавно приезжал к нам на симпозиум. Приехали историки со всего Союза. А потом был банкет. Вы наверно знаете: мы, грузины, умеем говорить за столом, было много хороших тостов. А потом встает с бокалом вина академик Коростовцев. Ну, думаем, начнет сейчас что-нибудь заумное нести, весь праздник нам испортит. А он говорит: — Я предлагаю выпить за здоровье тифлиских духанщиков! Когда мы молодые голодные студенты заходили в духан, и у нас не было денег кроме, как на кусок хлеба и стакан воды, они говорили: — Вот тебе сациви, вот тебе стакан вина. Кушай, дорогой, и учись. Выучишься, разбогатеешь, и тогда отдашь мне. И, может быть, многие из нас только благодаря им смогли закончить университет. Так выпьем же за их здоровье!

— Вы хотите увидеть древнее грузинское золото? Пошли!

Ведет он нас с Ниной через улицу во второй музей, прямо

к директору в кабинет: — Это друзья Михаила Александровича Коростовцева, они очень хотят увидеть наше древнее грузинское золото! Ну, что было дальше — понятно.

...Этот очерк я задумывал совсем не так, как получилось. Я думал, что это будет небольшой сборник из любопытных высказываний и эпизодов из жизни и деятельности наших великих вождей, которых мы обожествляли, и перед которыми мы преклонялись в детстве (и не только). Больше того: именем которых клялись! Молодые этого, к счастью для них, не знают, а мы помним:

— Вовочка, поклянись, что ты справишься!

— Марь Ванна, честное Ленинское, честное Сталинское, честное всех Вождей, что я буду хорошо учиться, и не буду больше эту дуру Катюку колотить!

Но как у нас говорили иногда в авиации, процесс пошел не по прогнозу. Начал с палачей, а потом, самым естественным образом, перешел к их жертвам, к очень интересным, прекрасным людям, с которыми мне посчастливилось познакомиться, и даже — подружиться.

Не буду сопротивляться, и продолжу об интересных людях, с которыми меня сталкивала жизнь.

Я хочу рассказать о человеке всем известном, об одном из самых уважаемых мной людей, я хочу рассказать о Валентине Степановне Гризодубовой. О ней много писали, много говорили, а что мы все о ней, собственно говоря, знали? Ну, известная летчица, участник (и командир) знаменитого женского полета из Москвы на Дальний восток, Герой Советского Союза, депутат Верховного Совета. Все! Да, в то время, да еще фактически без штурмана (я к этому еще вернусь) и, к тому же, и без связи с землей, это был, конечно, подвиг. Но не это было главное в ее жизни.

Да, конечно, тогда это был действительно рекордный полет, в отличие от показухи, зачастую устраивавшейся в наше время. Раз уж пошла такая... расскажу о двух подобных исто-

риях тоже, кстати, связанных с женщинами.

Марина Попович, жена космонавта Поповича, полковник, летчик-испытатель (извините за выражение, не слышали мы о испытанных ею самолетах) совершила рекордный полет: подняла гигантский «Антей» на какую-то большую высоту с каким-то очень большим грузом, действительно — рекордные цифры. Но не зря еще Марк Галлай, этот, на самом деле, один из лучших летчиков-испытателей страны, называл эти «рекордные» полеты — показухой. Перед таким полетом производится инженерный расчет полета и составляется график, которого с абсолютной точностью должен придерживаться летчик: в какую минуту и на какой высоте какую давать мощность двигателям, какой угол набора держать и какую скорость. Так что никаких подвигов здесь нет. Но не это главное, об этом можно было и не говорить. Главное — совершенно другое: а кто, интересно, был у знаменитой летчицы вторым пилотом? А вторым пилотом у нее был настоящий летчик-испытатель. Тот самый, который первым поднимал «Антей» в воздух и проводил все летные испытания этой машины. И по трапу, навстречу журналистам и фотовспышкам он вместе с Мариной не спускался, а, как рассказывали, сидел в кабине и отчаянно матерился.

А вторая история была, можно сказать, в нашем отряде. Я работал тогда в отряде самолетов ИЛ-62, мы летали из Москвы без посадки во все порты Дальнего востока. У нас в отряде было три женщины: второй пилот, штурман и бортрадист. И вот где-то, на самом верху, задумали устроить рекордный полет женского экипажа на дальность. Но нет женщины-командира корабля ИЛ-62, и нет борт. инженера. Командиром «назначили» командира корабля ТУ-154. Чтобы было понятно, почему в кавычках: нормальный путь повышения с того самолета на наш предусматривает трехмесячную переподготовку, а потом несколько лет работы вторым пилотом, а потом уже..., а тут ее именно — назначили. Точно так же нашли женщину-борт. механика вертолета, и тоже — назначили. Самолет пре-

дельно облегченный, без пассажиров и груза, с максимальной заправкой, если не ошибаюсь – восемьдесят шесть тонн топлива.

А потом девочки выполнили обычный полет во Владивосток, только вылетали они не из Москвы, как обычно, а из Праги, тем самым, продлив маршрут на три тысячи километров, то есть – на два часа полета.

Шум, гам на весь мир: советские летчицы, 10000 километров, мировой рекорд, ура, ура!!!! А потом, когда наша троица на отрядном собрании рассказывала о полете, кто-то из ребят задал вопрос:

– Девчонки, а чью там фуражку в пилотской кабине журналисты увидели после посадки?

– Да ладно вам, ребята, что вы как дети, в самом деле...

Надеюсь – всем понятно, что фуражка – мужской головной убор, а у женщины – берет.



Валентина Степановна Гризодубова

Летать Валя Гризодубова начала очень рано. Ее отец был одним из первых российских конструкторов самолетов. Он сконструировал и построил своими руками не только три самолета: Г-1, Г-2 и Г-3, но и моторы к ним. Он сам и летал на своих машинах, и однажды взял с собой в полет свою трехлетнюю дочку. Я видел у нее дома фотографию: сидит на «летающей этажерке» летчик не в кабине (которой вообще нет), а на какой-то жердочке, или скамеечке, а за плечами – привязанный

к нему крохотная трехлетняя дочка.

Когда ей было четырнадцать лет, во время слета планеристов в Коктебеле познакомилась с Сережкой Королевым (это все – с ее слов) и там же надавала ему по морде, чтобы не приставал. В дальнейшем она много сделала для того, чтобы вытащить Королева с Колымы. Конечно не только она, очень много сделал для этого Байдуков (помните: Чкалов, Байдуков и Беляков). А мама Королева в это время несколько месяцев жила у Валентины Степановны. А потом, через много, много лет, когда потребовалась какая-то не очень серьезная операция, она пыталась убедить: – Сережа, не иди ты к этим кремлевским академикам, они только ордена умеют получать, а оперировать уже давно разучились. Не послушался, оперировал, если не ошибаюсь, академик Александров. Что-то было связано с какой-то мелкой ошибкой, недосмотром...

В связи с этим вспоминается история, связанная с Александром Яковлевым, известным авиаконструктором. Я рассказывал ее так, как слышал сам.

Почувствовал он себя как-то однажды – не очень, скажем так, хорошо. И пошел он, как обычно, в таких случаях, к своему врачу в «знаменитом» четвертом управлении. Тот посмотрел, пощупал, и говорит, что, мол, аппендицит, срочно оперировать надо, и вот Вам направление в больницу. В свою, естественно, в «Кремлевскую». Ну, спасибо, Яковлев взял направление и ушел. И исчез. Через несколько дней его врач забеспокоился: они ведь там – каждый за своего пациента головой отвечают! Позвонил домой, а жена говорит, что, мол, Саша уже прооперирован благополучно и лежит в такой-то палате своей районной больницы. А он, как оказалось, пошел как простой советский гражданин, в свою районную поликлинику, получил направление в больницу. И там простой рядовой, не обремененный званиями, орденами, квартирами и дачами хирург, но оперирующий ежедневно с утра и до вечера, вырезал ему этот аппендикс. А вот Королев Валентину Степановну

не послушал, и результат известен...

Ну, вначале – о ее знаменитом перелете, это, все-таки, наиболее известный эпизод для широкой публики. Все, что я буду рассказывать, это практически все из разговоров с Валентиной Степановной. Она много мне рассказывала, и не только об этом. Но об остальном позже.

На перелет был назначен экипаж. Командир экипажа – Гризодубова, профессиональный летчик, налетающая к тому времени около шести тысяч часов. Это, поверьте уж мне, очень много. Вторым пилотом была назначена Полина Осипенко – профессиональный летчик, летчик-истребитель. Незадолго до этого она, участвовала еще в одном рекордном женском перелете: с юга на север. С Верой Ломако (командир), и той же Расковой – они летели на гидросамолете из Севастополя в Архангельск. А вот Раскова..., не знаю с чего и начинать. Ну, начну с того, что она не была штурманом. Она работала секретаршей у начальника кафедры самолетовождения Военно-воздушной Академии – Спирина. Это тот самый знаменитый главный штурман папанинских эпопеев. И они были с Мариной большими, о-о-чень большими друзьями. И он попросил своих друзей-штурманов поднатаскать ее немного в штурманском деле. Мои учителя, штурманы-корифеи Аккуратов, Рубинштейн, Падалко, рассказывали мне, зная мою любовь к истории авиации, как они именно натаскивали ее. Не проходили какой-то полный курс, а именно натаскивали ее к полетам. Вспоминается, как говорилось об этом в хвалебных юбилейных передачах по телевидению и радио: вот Марина работала секретаршей на кафедре самолетовождения, и вдруг у нее «проявился талант» к штурманскому делу! Или другой вариант: ...и она сдала экстерном на штурмана. И то, и другое – полнейший абсурд! До полета, о котором я рассказываю, у нее был налет 30 (тридцать!) часов. Для сравнения: я прошел четырехлетний курс обучения, налет к концу учебы был сто сорок пять часов. Я считал, что как специалист я «уже бог

за бороду схватил». И только уже в части, начав работать, я понял, что я еще сосунок, которому надо учиться и учиться, чтобы стать настоящим штурманом.

– Через некоторое время после взлета, – как рассказывала мне Валентина Степановна, – Марина вдруг открыла верхний люк, ей, видишь ли, Марк, великому штурману, пришла в голову мысль по Солнцу определяться! И в тот же момент у нее из кабины вынесло все: карты, бумаги, таблицы. Ты, сам штурман, и понимаешь: дальше она летела, как пассажир до того самого момента, когда ей пришлось покинуть самолет с парашютом, перед самой посадкой на лес, на болото. Вот – все ее участие в этом полете.

Очень жаль, сказала Гризодубова, что Полинка не сказала мне, что в предыдущем полете, с Верой Ломако, Марина «всю дорогу» лежала на полу кабины и «травила». Не сказала, я думаю, потому, что – не велели. И вот тут-то мы подходим к самому интересному. В экипаже, совершающем дальний перелет, обязательно должно быть «око государево», и им была Марина Раскова, сотрудник НКВД. Потом, рассказывала Валентина Степановна, она, уже, будучи Героем, Депутатом, была еще и экспертом по авиации в НКВД. Она посадила много невинных людей, а мне и другим порядочным людям пришлось затрачивать много сил, чтобы вытаскивать их из тюрьмы.

Я услышал это где-то в начале восьмидесятых годов. И только в последние годы мне встретились несколько статей в газетах, и даже – книг, в которых подтверждалась эта информация о Расковой. А в интернете я даже нашел ее звание в то время: старший лейтенант НКВД.

Как Раскову «натаскали» в штурманском деле, точно так же ее потом поднатаскали и в летном деле, то есть дали ей несколько полетов, но летчиком она не стала. На чем и погорела. Была она командиром полка на самолетах Пе-2. Это машина, не легкая в пилотировании и для опытных пилотов. Во время какого-то перебазирования на другой аэродром решила сама

перегонять машину. Взлетела на «пешке» и упала. Машина разбита, сама погибла, и экипаж погиб. Вот вам — одна из легенд, на которых мы воспитывались. Много их, этих «кожанных легенд» было в авиации. Были настоящие великодушные летчики, очень много сделавшие для развития авиации и славы России, взять, хотя бы таких, как Громов, Байдуков и многих других. Но разве можно сравнить их известность со славой любимцев Сталина — Леваневского, Чкалова, ничего, на самом деле, не совершивших, но вознесенных волей «великого вождя» на совершенно невероятную высоту!! Это отдельная и интересная тема, я еще, может быть, до нее доберусь.

А Валентина Степановна в первые месяцы войны организовала авиационный полк дальнего действия, и командовала им всю войну. Полк успешно воевал, шестнадцать летчиков стали Героями. Сама Гризодубова выполнила двести шесть боевых вылетов за линию фронта, в том числе много полетов к партизанам в белорусские леса. За все военные годы она получила только одну боевую награду: то ли — Звездочку, то ли — Знамя. (Я все забываю, что часть моих возможных читателей, из младшего поколения, могут не знать — что это такое: Орден Красной Звезды, и Орден Боевого Красного Знамени). На первый взгляд это кажется довольно странным, но объясняется неожиданно довольно просто. Все дело еще в одном сталинском летчике-любимце. Был такой — Голованов, считался личным пилотом Сталина. Правда Сталин ни разу не летал с ним (он, кажется, вообще никогда не летал на самолете), но Голованов выполнял специальные задания по его приказаниям. И тоже совмещал работу в двух ведомствах... Где-то в последние годы перед войной он, почему-то оказался не у дел и хотел устроиться на работу в гризодубовскую международную группу, но Валентина Степановна его не приняла. Как она мне сказала, — мне были нужны хорошие летчики, а не паркетные плясуны. А во время войны Сталин вспомнил о нем, и он был назначен Командующим АДД (Авиация даль-

го действия), стал Маршалом авиации. И не забыл обиды.

После войны Гризодубова организовала Летно-Испытательный Институт и много лет руководила им.

В 1952-м и начале 1953-го года, в период пика антисемитизма в Советском Союзе и печально знаменитого «дела врачей», из всех авиационных организаций, институтов и КБ были уволены все летчики-испытатели евреи.

Само собой разумеется, это коснулось не только летчиков-испытателей, это понятно. Старшее поколение хорошо помнит это страшное время. Я совсем не собираюсь описывать эти события: все это многократно описано людьми, знавшими гораздо больше меня, более опытными, старше меня. Лично меня эти события напрямую не коснулись (что с меня взять, с двадцатидвухлетнего лейтенанта), если не считать того, что именно с «дела врачей» началось мое «прозрение». А один пример из того времени я, все-таки, приведу. Мой брат, он был на десять лет старше меня, инженер-электрик, специалист по электронным приборам, работал в «КБ-1», он был уволен в самом начале «компании». Так вот он обошел по объявлениям 122 (сто двадцать два!) места. Везде: — Очень хорошо, именно такой специалист нам и нужен. Вот заполните анкету...

Сто двадцать второе место, это был Пищевой институт, там надо было разработать электронный прибор для контроля готовности колбасы. Все было точно также: — Нам именно такой специалист нужен...анкета...Ах, извините, мы ошиблись, оказывается, — мы уже взяли...

Тогда дома решили, что теперь жена должна попытаться найти работу (они вместе учились в Энергетическом институте, но она несколько лет не работала, сидела с детьми). Ей хватило одного места, того самого: сто двадцать второго. Хотя и Эдельштейн, но ведь — Глафира Константиновна!

...Так вот, единственное место, где не был уволен ни один летчик-еврей, это был Институт Гризодубовой! Мало того: она брала уволенных к себе и давала им работу. Можно пы-

таться объяснить это по разному, но в любом случае для того времени, я считаю, это был героизм!

Я бы не стал писать об этом, в общем-то, известном факте, хорошо описанном в своей книге Марком Галлаем, одним из тех летчиков-испытателей, принятых Гризодубовой на работу, если бы не многочисленные подтверждения прочитанного в книге. Ну, во первых – это сам Галлай. Когда он был в Израиле, то мы провели с ним целый день: первую половину дня я показывал ему и его очаровательной жене древний Иерусалим, а потом мы долго сидели у нас на балконе, под виноградом, и разговаривали и об этом, и о многом другом. О Валентине Степановне он вспоминал и отзывался с большим уважением.

А второе подтверждение, что мне было очень приятно, я получил здесь, в Иерусалиме, от Льва Петровича Овсищера. Впервые я о нем услышал от своего старшего коллеги, старого полярного пилота Константина Михаленко, вернее – из его книги «Служу небу», в которой он описывает свою жизнь в авиации. Во время войны он служил в полку легких бомбардировщиков По-2 (и не надо «знатокам» авиации морщиться при этом: эти крохотные тихоходные машины выполняли такие боевые задачи, которые не мог выполнить никто другой. А рисковали они не меньше, а наверно больше экипажей больших самолетов.) И вот там Костя описывает один эпизод времени Сталинградской операции, когда немцы были уже в окружении. Ночами над немецкой группировкой на высоте 1200 метров появлялся По-2 и по спирали, как планер, полностью убрав газ, снижался в полной тишине до ста метров. А в это время штурман самолета на чистом немецком языке в микрофон, через мощный усилитель, зачитывал Обращение Советского Командования к немецким солдатам. Над самой землей, на высоте сто метров давали газ, набирали высоту, и снова... И так – час за часом, каждую ночь... С чем можно сравнить ту степень риска, которому они там подвергались?

Не стреляли в них разве только что из рогаток... Они оба

пилот и штурман, были Командующим фронтом представляемые к Золотым Звездам, но получили, кажется, по простой «Красной Звезде». А фамилия штурмана была какая-то такая необычная – Овсищер, поэтому, наверно она мне и запомнилась. И с фотографии смотрел молодой красавец-капитан.

А через много лет, когда я приехал в Израиль, меня познакомили с известным и очень уважаемым здесь человеком, почетным полковником Армии Обороны Израиля, организатором и многолетним руководителем Общества ветеранов войны, Львом Петровичем Овсищером. Четырнадцать лет он был в отпуске (мы так хорошо понимаем это выражение, что даже не хочется брать его в кавычки), в активном отпуске. Четырнадцать лет он активно боролся за право выезда в Израиль. Об этой борьбе он сам написал хорошую книгу, лучше его не расказывай. Уже, когда он был в отставке, его лишили звания «полковник» и давным-давно уже заслуженной им пенсии. Попробуй объяснить это любому западному человеку: ведь ему не было предъявлено обвинение в нарушении ни одного советского закона! Я рад, что наше знакомство переросло в очень теплые, дружеские отношения.

...И вот однажды Лев Петрович рассказал мне такую историю: после выхода в отставку (а последние годы, после окончания Академии он служил на должностях Начальника штаба дивизии, Командира дивизии) он стал искать работу.

Прилетев в Москву, встретился с генералом Жолудевым, с которым вместе учился в Академии, тот был в ту пору замом Бутана, Министра Гражданской Авиации. Жолудев говорит:

– Знаешь, Лев, Гризодубовой нужен Начальник Летно-испытательной станции, я сейчас позволю ей. И Лев Петрович становится свидетелем такого разговора:

– Валентина Степановна, у меня есть для вас кандидатура. Я знаю его по совместной службе, ...богатый опыт руководящей работы, ...занимал такие-то должности, ..., порядочный человек...

– Мне такой человек нужен, пусть зайдет, поговорим.

– Но есть, Валентина Степановна, одно НО...

– Какое еще НО?

– Фамилия его... Овсищер.

– Ну и что?

– Так – Офицер же, Валентина Степановна, не Иванце, Овсищер!

– Ты что мне несешь? Ты что, меня не знаешь? Если ты его рекомендуешь, да он еще и Овсищер, скажи, что я его беру. Пусть приходит.

После того, что он услышал, Лев Петрович не пошел к Гризодубовой, не желая ее подводить: у него уже начали появляться мысли об Израиле....

Сама она не любила говорить на эту тему. А как взял Галлая в то время: – Так он же, – говорит, – был прекрасным летчиком, как же я могла не взять его к себе. Такими испытателями не бросаются! И с другими так же было. А бояться – так никого я не боялась. Плохо было то, что очень многие начальники не о работе думали, не о своих кадрах, а старались унюхать, куда ветер дует, и старались бежать впереди паровоза.

А однажды был у нас такой разговор:

– Марк, твой племянник улетел в Израиль. Скажи, он что, верующий человек?

– Да что Вы, какой он верующий...

– А зачем он уехал жить в Израиль? Что ему было плохо?

– Валентина Степановна, все было нормально. Но вот сей-рей захотел жить среди евреев, в еврейской стране, что тут такого необычного?

– Да нет, Марк, я все это очень хорошо понимаю. А вот ты скажи – он не из сабуровского набора?

– А что это такое?

– Ты не знаешь? Так я тебе расскажу. Ты ведь Сабурову знаешь, видел ее здесь много раз. Так вот ее покойный муж был во время войны командиром партизанской бригады в Белоруссии. Я много раз летала к ним туда, к партизанам, там я

познакомились. А потом, уже через много лет, он руководил вроде как школой подготовки «специалистов» для Израиля. В каждой группе уезжавших были такие, подготовленные.

– Да нет, Валентина Степановна, я Борю хорошо знаю, его взгляды, его настрой...

– Ну, слава Богу, если так!

Вы знаете, кроме того что, как говорится, у меня – ушки топориком от такой информации, у меня было в тот момент очень приятное чувство: значит, Валентина Степановна мне полностью доверяла, раз такое сказала, ведь это было еще самое начало восьмидесятых. А вокруг нее много народу разного крутилось, наверняка были и оттуда.

Потом я еще от одной знакомой в Москве услышал это выражение – «сабуровский набор». Я спросил:

– Откуда ты это знаешь?

– А кто, – говорит, – этого не знает?

Но я это слышал только вот так, два раза.

Этот разговор, забегая вперед, имел еще продолжение. Примерно через год после нашего приезда в Израиль, еду я как-то утром на работу в автобусе, как всегда – с газетой, и вдруг вижу объявление в черной рамке, официальное, наверху – четким шрифтом: Государство Израиль. А содержание примерно такое: у кого есть какие-то сведения о действиях советских органов против Государства Израиль, просим позвонить нам по телефону... Я не помню точно, но смысл именно такой. Это надо понимать: в девяностом прибыли из Союза около двухсот тысяч человек, в этом году ожидается столько же, политика Советского Союза по отношению к Израилу известна, вот и пытаются наши органы что-то делать...

Пришел я на работу, и звоню по этому номеру. Автомат отвечает, что сейчас никого нет, но как только, так – сразу... И действительно, примерно через час – звонок. Мужской голос, чистый русский, но уже с акцентом. И происходит такой интересный разговор:

— Вы Марк Эдельштейн?

— Да, это я. Я вам звонил. Вы знаете, мне хотелось бы с Вами встретиться. У меня есть информация, которая Вас может заинтересовать.

— Давайте сначала по телефону с вами поговорим, а если понадобится, то потом и встретимся. Так что Вы хотели рассказать?

— Судя по то тому, как Вы говорите, Вы из Союза, но уже достаточно давно. Скажите, пожалуйста, вот когда-то, примерно в пятидесятых годах, была очень известная, в то время, книга автора по фамилии Вершингора «Люди с чистой совестью», это о партизанской войне в Белоруссии, Вы не помните эту книгу?

— Нет, Вы знаете, не припоминаю. (Я сразу подумал, что он моложе, чем показался мне по голосу. Мало кто из моих сверстников не слышал об этой книге. А поколение наших детей конечно — не знают, не читали, не слышали о ней. И — слава Богу!). А почему Вы вспомнили об этой книге?

— Тогда, простите, еще один вопрос: знакома ли Вам фамилия — Сабуров?

— Нет, не знакома. А причем тут книга?

— Видите ли, это была очень известная в Советском Союзе книга о действиях партизанских соединений в Белоруссии. Командовали этими соединениями офицеры, сотрудники НКВД. Командиром одной из бригад был Сабуров. А после образования Израиля он... — и я рассказал то, что знал.

На вопрос, — откуда у меня такие сведения, я ответил, что это почти из первоисточника, что я узнал это от, близкого и очень уважаемого мной человека, знавшего Сабурова еще со времен войны.

— Мы очень благодарны Вам за то, что Вы рассказали. Если понадобится, то мы пригласим Вас для более подробной беседы.

— Пожалуйста, но я рассказал все что знал, и вряд ли Вы сможете услышать от меня еще что-нибудь интересное.

На этом наш разговор закончился.

А жену Сабурова, вернее — вдову того самого Сабурова, я

знал, много раз видел ее у Гризодубовой. Она была интересным человеком, композитором. Но она не знала нотной грамоты, и нашла свой способ записывать музыку. Правда, Нина говорит, что я ошибаюсь, что я путаю ее с другой женщиной. Ну, кто-то из нас ошибается. Наверно — я.

У Гризодубовой был открытый дом. Открытый в том смысле, что в праздники, юбилеи и по многим другим поводам в доме Валентины Степановны собиралось много гостей, было большая квартира и громадный стол в столовой позволял. Приходили летчики и космонавты (я там познакомился с Джанибековым, Волком, мне приятно было видеть, с каким уважением они относились к ней), руководители авиационной промышленности и авиационной науки, артисты, музыканты. Иногда устраивались концерты. Мало кто знает, что Гризодубова была очень образованным человеком: мало того, что у нее были дипломы двух технических ВУЗов, так она еще и Консерваторию окончила.

Как я с ней познакомился — это тоже не совсем обычная история.

Как-то Нина разговорилась в Центральной поликлинике Аэрофлота с врачом-стоматологом. Это была пожилая женщина, мы много лет у нее лечились. И вот в разговоре Нина рассказала ей о нашей проблеме, которая нас мучила уже довольно много времени. А проблема заключалась вот в чем: мама моя жила в двухкомнатной кооперативной квартире, которую мы купили родителям. Папы уже не было, маме — девятый десяток пошел, совершенно беспомощная, без двух костылей даже по квартире передвигаться не может, обслуживать сама себя не может. Рома после армии живет с ней вместе, официально признан попечителем. Больше того: суд признал его право на проживание в этой квартире. А вот с пропиской не получается. Вроде бы по закону все нормально, но должно быть согласие председателя кооператива, а вот она то категорически против. А без ее подписи на заявлении, прописки ни в каком

случае невозможна. На самом деле причина совершенно ясна: кооператив маленький, один пятиэтажный дом, у председателями дочка замуж вышла, первая квартира, которая может освободиться... в общем, все ясно. Ну, поговорили, и разошлись. А через несколько дней она звонит Нине и говорит, что накануне была в гостях у Гризодубовой, с которой давно знакома. Рассказала, говорит, о вашей семье, о муже, летающем четвертый десяток лет, и об этой вашей истории с пропиской. Валентина Степановна заинтересовалась этим и просила привезти Вас к себе.

Я прилетел из рейса, и вдруг Нина мне рассказывает, что была у Гризодубовой (ты знаешь, кто это такая, Гризодубова? — женщина, что с нее возьмешь, — как я мог ее не знать?), долго с ней разговаривала, и она просила приехать нас вместе. Так произошло наше знакомство.

Надо признаться, я ехал к ней с волнением. С детства, чуть не с пеленок, она была для меня человеком из легенды, как «Папанин, Кренкиль, Ширшов и Федоров», как «Чкалов, Байдуков, Беляков», так и «Гризодубова, Осипенко, Раскова». Знаменитая летчица, помнил ее с детства в кино, в газетах, портреты, фотографии..., и вот она пригласила к себе в гости. Интересно! Встретила нас очень полная пожилая женщина с молодым красивым лицом (и очень знакомым), приветливая, разговорчивая. Мы проговорили тогда долго, несколько часов. Она расспрашивала меня о летной работе: на каких машинах летал, где бывал, с кем работал, оказалось довольно много общих знакомых. А в конце разговора сказала, что сын имеет все права на прописку, (уже проконсультировалась со специалистами!), и она постарается помочь. Это последнее было и хорошо, и плохо. Вдруг, совершенно неожиданно, появилась помощь, (да еще какая!) в очень важном для нашей семьи деле. А, с другой стороны, я старался ограничивать наше общение, мне казалось: а вдруг Валентина Степановна подумает, что это из-за того, что вот она помогает нам, и поэтому мы..., и

это меня очень сковывало. А кончилось это совершенно неожиданно, и с примесью какой-то мистики.

Получила Валентина Степановна два раза отказ, ну — и ладно, что поделаешь. Правда, она сказала, что на этом не остановится, но я на эти слова уже не обратил внимания.

Однажды звонит Нина: — Марк, я у Валентины Степановны, приезжай, мы тебя ждем. Приезжаю, Нина открывает дверь, и я вижу, что что-то произошло. Что случилось? А случилось вот что: за четверть часа до моего приезда пришла Валя, невестка Валентины Степановны. Она обычно приносит почту из почтового ящика, причем она открывала ящик очень нерегулярно, когда он уж совсем переполняется. Проходя мимо, она увидела через дырочки в ящике одну, какую-то бумажку, и ей почему-то очень захотелось ее достать. А ключ наверху, в квартире. Так она руками взломала ящик, достала эту бумажку и, не читая, отдала ее. Потом она сама не могла объяснить, почему она это сделала. А Нина крутится на кухне, что-то там делает, и вдруг слышит громкий крик: — Нина, идите сюда, мама зовет! Нина входит в комнату и видит: в руках у Валентины Степановны какая-то открытка, а на лице — слезы:

— Ниночка, посмотри, что я получила!

А в открытке написано, что Эдельштейну Р. М. разрешена прописка по адресу... И подпись — Председатель Моссовета Промыслов.

Валентина Степановна уже не работала, здоровье не позволяло. Но она не забывала тех, с кем была связана по работе, сотрудников своего института, летчиков своего полка, их жен, вдов, детей и внуков, и всегда была занята помощью кому-то из них. Но она не была доброй бабулей, которой можно было играть. Нет, вначале она сама разбиралась: все ли правильно, справедливо, законно, а уж тогда... Основным, и единственным, оружием ее был телефон. Она могла позвонить кому угодно: министру обороны, председателю Моссовета, министру, секретарю любого горкома, кому угодно. В очень

серьезных случаях она могла начинать разговор словами: – С Вами говорит Герой Советского Союза Гризодубов! И это действовало безотказно. Но все это только тогда, когда надо было помочь другим. Я однажды спросил, почему ее машина стоит, чуть ли не единственная, под открытым небом, а во дворе десятки гаражей стоят, что же она, не может добиться разрешения, чтобы поставить еще один?

– Да ты что, Марк, я буду для себя просить?!

Однажды, глубокой ночью, ее разбудил звонок из Новосибирска, звонила вдова летчика ее полка: что-то очень серьезное случилось с ее маленькой внучкой, ребенок чуть ли не умирает, но из-за каких-то бюрократических тонкостей ее не берут в больницу, не оказывают помощь, а девочке очень плохо... Я сейчас уже не помню, кого она ночью подняла на ноги: министра здравоохранения, секретаря горкома. Но через четыре часа пришла машина, взяли девочку и отвезли в Центральную городскую больницу, о чем Валентине Степановне сообщила счастливая бабушка.

...Едем на юбилей ее полка в ресторан на ВДНХ. За рулем – Валентина Степановна, в машине маленький Валерик Гризодубов и мы с Ниной. В центре Москвы, около «Метрополя» она что-то там подрезает, и ГАИшник, молодой лейтенант, конечно, тут как тут:

– Нарушаете, гражданка!

– Извини, сынок, больше не буду!

И тут я вижу, как его лицо каменеет: он видит выглядывающую из-под воротника плаття этой глубоко пожилой, старой женщины золотую звезду Героя Советского Союза! Он вытягивается и отдает честь.

– Валентина Степановна, а ведь он мог и права потребовать, на неприятность можно нарваться.

– Да что ты, Марк, какие права, у меня их никогда и не было!

– Как не было, Вы же всю жизнь на машине, с тридцатых годов, как же так?

– А вот так, машины были, а кроме пилотских – никаких других прав у меня никогда не было.

Узнав, что Рома с семьей улетают в Израиль, она сказала: – Ну что же, ребята, теперь и вам туда дорога.

Прощание было очень теплым. Не думали больше увидеться. Мне действительно не довелось больше увидеть Валентину Степановну, а вот Нина с ней еще встретилась. Через девять месяцев Нина была в Москве: маме исполнилось девяносто семь лет, конечно, позвонила Гризодубовой, и сразу:

– Ниночка, здравствуй, приезжай, у меня как раз гости, жду!

Нина приехала, поздоровалась со всеми, и сидит в уголке, и только молит Бога, чтобы кто-нибудь не начал ее расспрашивать, – почему долго не бывала, боялась поставить Валентину Степановну в неудобное положение. И вдруг слышит:

– Нина, а ты что там молчишь, расскажи, как вы там с Марком в Израиле живете!

Вот такая была Валентина Степановна Гризодубова.

Двадцать восьмого апреля 1993-го года мы услышали в «Последних известиях» о ее смерти. Нина зажгла поминальную свечу, которая горела весь день в память об этом замечательном человеке.

Алия, она у каждого — своя

Если вы ожидаете каких-то захватывающих историй о моей сионистской деятельности в Советском Союзе, о преследовании меня нашими бравыми чекистами, о моей многолетней борьбе за выезд в Израиль, то я вас сразу разочарую — ничего подобного со мной не происходило.

Жил я вполне благополучной жизнью. Мою работу, работу авиационного штурмана, я считал лучшей работой в мире. До тридцати лет служил в Морской Авиации на Тихоокеанском флоте, после демобилизации мне посчастливилось много лет работать в Полярной Авиации, а это — особый мир, особые люди, особая работа, об этом можно писать и рассказывать бесконечно. А потом еще много лет возил пассажиров на грамадных лайнерах Ту-114 и Ил-62 из Москвы во все города Дальнего Востока: Хабаровск, Владивосток, Анадырь, Якутск, Петропавловск-Камчатский.

С антисемитизмом я за всю мою долгую авиационную жизнь, скажем так, почти не встречался, в авиации в этом смысле всегда была достаточно чистая атмосфера, а уж в Полярной Авиации вообще эта тема не существовала. Даже, скажи бы я, существовала, но наоборот: когда, в силу каких-то причин, приходилось переходить в новый экипаж, встречали с улыбкой: — Ну, Марк пришел (имелось в виду не личность именно моя, а национальность, штурман еврей), теперь можно не бояться заблудиться, и при любой пьянке можно быть уверенными, что хоть одна голова светлой останется!

Все ведь, черти, понимали!

И еще у меня сохранилось очень хорошее чувство вот по какому поводу: после Шестидневной войны у нас несколько месяцев только об этом и говорили, в воздухе, в гостинице, в столовой. Я, естественно, с большим удовольствием слушал

эти разговоры, обмен мнениями. Но! Меня ни одного раза не втягивали в эти разговоры, не спрашивали моего мнения. Если и спрашивали, то что-нибудь такое, информативное по истории еврейской, по стране. Ведь уши посторонние есть везде, и ребята понимали, что я или должен был ставить себя под удар, или нести околесицу.

Все, что я говорил выше, относится именно к жизни авиационной, к окружению моему на работе. Но была еще нормальная жизнь взрослого москвича, еврея, незашоренного человека. Я все видел, все понимал. Я мог бы много рассказать того, что касалось лично меня, моих родных, друзей. Но это все всем известно; все сами прошли через это, и ничего нового я не скажу.

Конечно, я очень интересовался всем, что касалось Израиля. Купил (достал!) японский «Панасоник» и, прорываясь через все глушилки, слушал, стараясь не пропускать ни одной передачи «Кол Израэль». Мне еще тогда почему-то очень запомнилась фамилия одного диктора, в конце передачи я часто слышал:

Читала Рина Донат.

Думал ли я тогда, что эта самая Рина Донат, Арина Васерман, и ее муж — Женя, станут для нас с Ниной с первых наших дней в Израиле самыми близкими людьми, и останутся такими до сегодняшнего дня! А почему не свои имя и фамилия в эфире? Дело в том, что в то время выходящие в эфир на русском языке работали под псевдонимом, чтобы не ставить под удар родственников, живущих в Советском Союзе. А потом это просто вошло в традицию.

Очень рад был за наших родных и знакомых, уезжавших в Израиль.

И тут напрашивается вопрос: а сам-то думал об Израиле, как о своем будущем? Сам-то думал об отъезде? Признаюсь: — не думал, и мысли такой не было. А почему — попробую объяснить.

Для этого забегу немного вперед, так мне будет легче пояснить свою мысль. Итак — мы с Ниной уже в Иерусалиме,

и я учусь в ульпане (для неграмотных, которые живут не в Израиле, а где-то в провинции, ульпан, это курсы изучения иврита). Группа большая, возраст слушателей — примерно от двадцати, и до шестидесяти. И вот молодежь, конечно, побежала вперед, а мы, старичье, стали безнадежно отставать. Почему? Оно конечно: возраст, головы уже не те, трудней что-то новое познавать. Все это верно, конечно, но главная причина все-таки не в этом. Для молодых знать иврит, это вопрос жизни, вопрос выживания семьи, детей. Ну, тут все понятно, что говорить. А для нас что: нам бы так, немного понимать, немного говорить...

Нет, нет, никто, мне кажется, так специально не думал, но где-то там, глубоко, в подкорке, эта дурная мыслишка сидела, я в этом глубоко убежден. И результат налицо, то есть плачевен. Кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже...

К чему я все это говорю? А вот к чему: у меня было столько разных, достаточно серьезных допусков, я столько раз давал подписки хранить военную и государственную тайну, не общаться с иностранцами (вы же понимаете: они же все шпионы), что само собой разумелось — о выезде даже и думать нечего, впереди каменная (стальная, титановая) стена. И точка!

Вот такая была ситуация, во всяком случае — в моей голове.

Но это — в моей. А ведь был еще и Роман, а у него своя голова. А он вошел в группу ребят, изучавших иврит, еврейскую историю, Израиль. (А как могло быть иначе у внука такого деда? У папы было три внука, и все трое стали израильтянами). Однажды он заявляется к нам с улыбкой до ушей и с конвертом из Израиля, а в конверте два вызова: один — его семье, а второй нам с Ниной!

— Я, — говорит, — понимаю, что вы еще не готовы принять решение, но вам придет второй вызов, потом третий, так что — думайте, готовьтесь...

А мы с Ниной в ужасе: это легко радоваться, когда другие уезжают; тем более, когда молодые люди едут в Израиль. А

это же наш единственный сын, и единственный внук. И мы их никогда больше не увидим! Караул!!

Рома с Ниной помогают, чем можем, но говорить на эту тему инстинктивно избегаем: страшно. Но, в конце концов, разговаривать, а куда денешься. И разговор-то весь продолжался минут двадцать, не больше.

— Ну, хорошо, дети уедут. И останемся мы в своей шикарной двухкомнатной квартире, 26,5 кв. метров, с двумя нашими честно заработанными пенсиями 120х2, и что мы будем делать? Сидеть у телевизора, ловить по радио весточки об Израиле и всю жизнь ежедневно бегать к почтовому ящику в надежде получить письмо от детей? Так дело не пойдет! Надо решаться! Конечно, получим отказ, подадим второй раз, будем добиваться, требовать...

Вот я почти дословно воспроизвел тот наш короткий разговор. И еще я решил тогда, что многолетним отказником я не буду, пойду ва-банк: после первого же отказа (а я не сомневался, что будет именно отказ), напишу Роме в Израиль и Ниным родственникам в Америку, чтобы сразу ударили «во все колокола» — радио там, газеты, конгрессмены. Наверно, это все очень было наивно, но я не обсуждаю сейчас, а просто говорю о том, что я думал тогда. Все документы я подготовил, но подавать мне опытные люди посоветовали только после отлета детей, чтобы и их не делать отказниками.

Я так и поступил. Воспользовавшись своим старым пропуском, проводил ребят до самолета, а на другое утро я со всеми бумагами — в ОВИР.

И тут произошла очень интересная вещь: я не знал, сколько я еще буду жить в Москве: может быть год, может быть пять лет, и вообще — что будет дальше. Но на другой день, выйдя утром на улицу, я почувствовал себя совершенно другим человеком: меня ничто не удивляло, не раздражало, я смотрел на все как бы со стороны, как будто это все уже не мое, и я

уже не ваш! Очень любопытный момент, но мне многие говорили, что испытывали то же самое.

А между тем жизнь продолжалась. Я третий год работал во Дворце пионеров нашего Ворошиловского (а потом – Хоросhevского) района в должности заведующего тиром, начала с Ниной заниматься ивритом в какой-то полуподпольной группе, каких в то время в Москве было очень много. Больше того: я оказался одним из организаторов, а потом и членом инициативной группы первой всесоюзной, можно сказать, официальной забастовки. Она здорово напугала тогда: о ней говорили по радио, писали в газетах, предсказывали, что за нами могут последовать и другие. Не знаю, можно ли это называть забастовкой, хотя это слово употреблялось и в печати, и на радио. Но название, это не главное. А дело было в том, что мы, летчики-пенсионеры несколько лет боролись за повышение пенсий. Наша стандартная пенсия была, при выслуге 25 лет, 120 рублей. А я, кстати, ушел на пенсию в возрасте пятидесяти шести лет с выслугой – шестьдесят пять лет, шесть месяцев, и двадцать восемь дней, получив свои родные сто двадцать р. Мы даже, уж не помню по какой причине, не получали дополнительные двенадцать рублей. Почему многим категориям (шахтерам, еще кому-то) дали льготные пенсии, а нам нет? Писали, требовали, шумели... И добились! Прошел слух, что вот на днях будет принят новый Закон о повышении пенсии летчикам до 180-и рублей. И он был подписан! Ура!! Но рано обрадовались. Оказалось, что последним пунктом, было: *«касается лиц летного состава, ушедших на пенсию после даты подписания данного Закона»*, то есть получать повышенную пенсию будут только те несколько десятков, или сотня человек, которые будут уходить на пенсию каждый год, начиная с этого дня! А мы, тысячи летчиков, отдавшие всю жизнь авиации??? И вот тут мы взбеленились! По всем возможным каналам, то есть – через экипажи самолетов, по разным радиоканалам, по телефону объявили во все

концы нашей великой Родины общий сбор такого-то числа, в одиннадцать часов, на площади городского аэровокзала около нашего Министерства!

В назначенный день и час тысячи (тысячи!) наших пенсионеров, не только москвичей, но и из центральных областей, собрались на площади городского аэровокзала, и потребовали пустить нас всех в Министерство, открыть нам актовый зал и пригласить туда министра, т.е. самого Бугаева для объяснения. Пустить нас отказались: – Мы разберемся, мол, а пока разойдитесь... Но мы это уже проходили. Решили стоять до конца, победного конечно. Прошло так часов около двух. А вокруг уже репортеры забегали, блицы щелкают, наших спрашивают, иностранцы появились, журналисты. А автобусы с пассажирами подъехать к аэровокзалу не могут...

Кончилось тем, что какой-то офицер милицейский-полицейский пригласил всех пройти в Министерство. И повалили всей огромной толпой мимо ошеломленной вохры без всяких паспортов и пропусков прямо в актовый зал. Пришел зам. Министра. Наслушался он за пару часов в адрес свой и своего начальника, министра и члена (ЦК КПСС) такого, что, наверно, и сейчас еще помнит. А чего нам было бояться: мы пенсионеры, у нас не работаем, а год, слава Богу, не тридцать седьмой, а восемьдесят девятый!

Короче – дали срок (мы, не они!) ровно месяц, час в час, сбор – в том же составе, и здесь же. А мы, инициативная группа, распределились, и отправились по редакциям всех центральных газет. Я попал в «Труд». В ближайшие дни в газетах появились материалы о нашей забастовке, о наших справедливых требованиях. Ухитрились даже вручить письмо самому, страшно сказать, Леониду Ильичу! Каким путем? Кто-то из наших «стариков» попросил своего приятеля, командира «ларского» экипажа, тот в воздухе передал письмо кому-то из свиты, а тот, соответственно, в удобную минуту – самому.

И ведь добились, добились изменения Закона!!! Говорили,

что это первый такой случай в нашей истории!

Но воспользоваться мне этой нашей победой не пришлось по той причине, что предел суммы пенсии и заработка остался тот же — триста рублей, а я получал в своем Дворце сто восемьдесят. Нет, один раз я все-таки получил свою завоеванную льготную пенсию: при выезде в Израиль, за шесть месяцев вперед.

А дни идут. Я работаю, жизнь продолжается. Первого отказа я ожидаю не раньше, чем месяца через два-три. Но что интересно: у нас не было окружения отъезжантов, отказников (это для всех нас настолько обычные понятия, что не ставлю даже кавычки), и поэтому мы с Ниной не знали об Израиле ровным счетом ничего! Я имею в виду — что нас ожидает по прилету в страну: работа, жилье, питание, медицина; ни о каком пособии я и понятия не имел. Знали только одно — как все, так и мы. Мы, как-то, даже не интересовались всеми этими вопросами. Сейчас мне самому это кажется очень страшным. Но было именно так. И в то же время, я прекрасно понимал, что профессии у меня нет, и уже не будет, возраст — сверхкритический, язык — отсутствует, и что никто не ждет меня с тарелочкой с золотой каемочкой. И что придется столкнуться с любой работой, и я был к этому готов.

И, забегая вперед, так и получилось: первые два года я «шмерил» в консерватории, и полы там мыл на всем этаже, и ничуть не чувствовал себя ни униженным, ни оскорбленным. (Опять же, для провинциалов: ширира — это — охрана. И второе: консерваторией здесь называют музыкальную школу, а то, что мы привыкли называть консерваторией — музыкальная академия). И до сих пор не могу спокойно слушать рассуждения, вроде того, что нас, мол, зазвали, нас обманули, нам недодали... И еще одно воспоминание: фотография в русской газете. У входа в палатку стоит здоровый молодой небритый толстомордый парень (о такой лоб — поросят на бойне битый) лет тридцати двух — тридцати пяти и жалуется, что, вот, он врач, у него двое детей, а ему не представляют (вот сволочи,

не представляют!) работу по специальности, и вот ему не на что жить; ну, и так далее.

Но это все еще впереди, а мы пока в Москве. Живем полноценной московской жизнью, хотя мысли все конечно там!

Иду я однажды домой из своего Дворца, и вспоминаю — сколько дней прошло со дня подачи заявления, получается, что двадцать семь. И тут я вспомнил, что Роман получил долгожданную открытку именно на двадцать седьмой день. Надо же — какое совпадение! Захожу в подъезд, как обычно бросаю взгляд на почтовый ящики вижу, что там что-то белеет. Вы правильно подумали: она, родимая: — «Предлагаем прибыть для оформления...».

Я растерялся страшно, в полушоковом состоянии вхожу в квартиру с открыткой в руках, и на недоуменный вопрос Нины: — Марк, что с тобой? — не нашел ничего лучшего, как ответить: — Смотри, не уважают!!! И это «не уважают!» стало уже у нас семейной классикой.

Дальше — как у всех: очередь в ОВИР, очередь в консульство, многодневные очереди в билетные кассы и в таможню. Да, забыл еще целую серию очередей за водкой! А ее надо было много для двух прощальных вечеров: в пустой уже квартире, и в моем тире, во Дворце пионеров.

Расставил вдоль всего тира столы, собрался вечером весь дворец — больше половины — молодые женщины. За вечер девяти три из них подходили ко мне с одним и тем же рассказом: — Знаете, Марк Соломонович, какая же я дура была: был у меня парень, еврей... Я бы давно уже там была!

А под конец вечера заваливается начальник РОНО:

— Марк, ты, что же мне не сказал?

— Да я, Коля, не решился: ты же начальник, да еще член райкома...

— Да пошли они все! Ты знаешь, я вот подумал, когда шел сюда: какая деваха у меня была, еврейка, красавица, умница, какой же я кретин был, да я бы давно уже...

Надо сказать, времена уже были не те: никто не ругал, наоборот, поздравляли, желали всего хорошего. Впрочем, одна дама, Нинина бывшая сослуживица, назвала нас предателями и изменниками. Она была, конечно, еврейка. И еще я помню, что ее муж был гинеколог, возможно последнее обстоятельство и было причиной ее дурного характера.

Ну, а дальше, прощальный вечер в пустой уже квартире, проводы в Шереметьеве. Было только еще два интересных момента. Первый – это то, что наши с Ниной визы были если не самые последние, то наверняка в последней десятке виз, дающих право выбора: Израиль, или Америка. Я так уверенно говорю потому, что я получал визы без четверти шесть двадцать девятого сентября (кажется, я в месяце не ошибся), на другой день была суббота и консульство не работало, а с первого октября Америку прикрыли. И, в связи с этим, не могу не вспомнить один небольшой эпизод.

Пришел я по какому-то поводу в консульство, кажется – сдавать все наши документы для отправки в Израиль. Как всегда перед входом громадная очередь. Стою, а передо мной очень возбужденный разговор. Человек пять-шесть мужчин и женщин страшно сожалеют, что они опоздали с получением виз: кто-то на месяц, кто-то на десять дней, а одна, помню, женщина на три дня. – Представляете – всего на три дня я опоздала!!! А я стою, слушаю, помалкиваю. А потом они ко мне обращаются:

– А Вы когда получали визу?

– Я? Я – двадцать девятого сентября.

Среди них то ли вздох прошел, то ли стон.

– Так Вы – в Америку!!!!!!!!!!

– Да нет, я в Израиль.

– Но Вы же можете в Америку!

– Но я в Израиль...

– Да Вы наверно не понимаете, ваша виза позволяет Вам...

– Я все понимаю, но я в Израиль лечу!

На меня махнули рукой, как на идиота, и возбужденный

разговор продолжался.

А второе, это очень приятное воспоминание. Кончился прощальный вечер, гости разошлись, двенадцатый час ночи. И вдруг звонок, и входит Валя Жданович: мой летчик, мой многолетний командир корабля. Он прямо из рейса, в форме, и с чмоданчиком. Мы проработали с ним в одном экипаже около пяти лет. За эти годы много было всякого. Но Валя всегда знал, что в случае любой нашей ошибки, любой, как сейчас принято говорить, нештатной ситуации, я не попытаюсь все свалить на командира, а наоборот – постараюсь все взять на себя. А я, в свою очередь, был абсолютно уверен, что он никогда не «сдаст» своего штурмана. И мы с ним первые в отряде получили допуск на посадку по второй международной категории ИКАО. Это значит, что мы имели право заходить на посадку и садиться при высоте нижней кромки облачности тридцать метров, и видимости триста метров. Чтобы было понятно: это условия почти полного тумана; и с того момента, когда мы начинали видеть землю, при заходе на посадку в этих условиях, и до посадки, проходило всего пять-шесть секунд.

Мы просидели с ним почти до утра.

Однажды в полете зашел у нас разговор о памяти, и я решил повеселить экипаж. Я попросил написать мне сто слов под порядковыми номерами. Попросил пять минут на ознакомление, а потом отдал Валентину и выдал все слова по порядку – сверху вниз, потом снизу вверх; после этого попросил называть слово, а я говорил его порядковый номер, а потом – наоборот: слово по номеру. Посмеялись, поудивлялись. Из всего этого Валя запомнил одно слово – трусы и номер его – тридцать шесть и часто мне это вспоминал при встречах, когда наши пути уже разошлись: он стал пилотом-инструктором, а я летал с другими экипажами.

Прошло много лет, я уже пять лет в Израиле. И вот в 1995-м году я прилетаю в Москву. Конечно, в один из первых дней набираю знакомый номер.

– Здравствуйте. Будьте добры Валентина Ивановича.

– Я Вас слушаю.

– А Вы точно Валентин Иванович Жданович?

– Что за странный вопрос? А кто это говорит?

– Понимаете, Валентин Иванович, я иностранец, и в разговорах с советскими людьми должен быть очень осторожен. Пароль – тридцать шесть.

– Трус-ы-ы-ы-ы!!!!!! Марк, ты что ли????!....

Но до этого еще далеко, пока еще мы только подлетаем к Израилю. После долгого, шестнадцатичасового, утомительного ожидания в Будапеште, я заснул, как только прикоснулся к креслу, еще до взлета, и спал, пока Нина меня не растолкала: – Марк, смотри, Израиль!

Под нами громадный, весь в огнях, город. Тель-Авив! Сна – как не бывало! Посадка была встречена общими аплодисментами. Такое я увидел первый раз. Я был очень удивлен, но потом многократно убеждался, что так бывает всегда при посадке в аэропорту Бен-Гурион. Такой уж мы, израильтяне, эмоциональный народ!

Устроенную нам встречу в аэропорту я никогда не забуду. Не надо забывать, что это было восьмого февраля 1990-го года, в самом начале гигантской волны алии из Советского Союза. Нас привезли в здание аэровокзала, и я был поражен простором, светом, зеленью! Повели куда-то по длинной лестнице вверх. На первых ступеньках встречают молодые девушки с большими корзинами, наполненными апельсинами, и из каждого торчит маленький израильский флажок. А наверху, в конце лестницы, ждут другие, с пустыми корзинами для апельсиновых шкурок, и издали, сверху, слышится какая-то музыка. Заходим в большой зал, празднично украшенный зелеными флагами, гирляндами. Человек двадцать молодых девушек и юношей ведут концерт: песни, танцы... Длинный стол под белоснежной скатертью, на нем – пирожные, печенье разное, конфеты, бутерброды всевозможные, напитки, чай, кофе, еще много чего. Сразу скажу, что все это осталось нетронутым:

все были голодные, но брать и кушать просто так, бесплатно, как-то неудобно, мы к такому непривычны. Налить стакан воды, это еще, куда не шло, а кушать... Расселись мы в креслах, ждем, что будет дальше.

А дальше, дальше начинают вызывать по фамилии то к одному сотруднику, то к другому. У первого уточняются какие-то анкетные данные, второй выдает определенную сумму денег на первые дни, третий – город, куда мы решили ехать, улица, номер дома, четвертый – еще что-то. И, наконец, последний выдает нам Удостоверение личности – Теудат Оле. Все! Мы уже – полноправные граждане Израиля!! (хотя, если точно – гражданами Израиля мы становились уже сойдя с трапа самолета). Тут еще для меня был небольшой, но приятный сюрприз: я вначале не понял причину, по которой нас с Ниной все время вызывали первыми, пока Рома не объяснил: это в Союзе наша фамилия начиналась почти с последней буквы алфавита, а в иврите буквы «Э» нет, и наша фамилия начинается с буквы *מ* (АЛЭФ), то есть – с первой буквы, и звучит, как Адельштейн. Как говорится – пустячок, а приятно.

Опять же первыми нас пригласили к машине. У выхода ожидала коляска с нашими вещами, а на стоянке – такси, готовое ехать с нами в любую точку страны. Для нас, само собой – бесплатно. Впечатление от этой дороги я никогда не забуду. Было раннее утро. Еще темно. Мы только вчера из зимней, заснеженной Москвы, а тут трава, зелень, пальмы, огни кругом, и мы едем в Иерусалим! Фантастика!!

Когда Рома привез нас к себе домой, то они с Ниночкой нас предупредили, чтобы мы Илюшу не будили: ему пару дней назад сделали бритмилу, и он может немного капризничать. Через некоторое время дверь открывается, появляется заспанный пятилетний Илюша, смущенно улыбается, увидев нас с Ниной. Потом он подходит ко мне, обнимает, и тихонько на ушко спрашивает: – Дедушка, а когда тебе бритмилу делали, тебе больно было?

В один из самых первых дней я попросил Романа, который прилетел в Израиль на восемь месяцев раньше нас, показать мне старый город и Стену Плача. Что я знал о ней? Что это часть Западной стены Иерусалимского Храма, что это единственная сохранившаяся часть Храма, что это самая большая святыня для всего еврейского мира. Все! Что все это значило для меня, московского нерелигиозного еврея? В общем-то — слова, не задевающие каких-либо глубинных чувств. Подошли, интересно было увидеть эту знаменитую громадную Стену, о которой столько читал, слышал от папы. Но вот то, что произошло потом, это я не могу объяснить себе до сих пор! Подошел к Стене, приложил к ней руки, положил голову на руки. И, в этот момент меня вдруг затрясло, из глаз брызнули слезы, и я стоял так, весь дрожа, несколько минут, не в силах придти в себя. Что это было? Можно много об этом говорить, давая много разных объяснений. Не знаю. Во всяком случае, за все эти годы я подходил к Стене бесчисленное количество раз и сам, и когда водил экскурсии, но таких сильных чувств больше не испытывал. Хотя равнодушным быть, находясь около Стены, а тем более касаясь ее руками, конечно невозможно.

Прежде чем приступить к рассказу о начале жизни в Израиле, я хочу сделать небольшое предисловие. Любая эмиграция, это событие очень тяжелое, сложное, даже — мучительное. И неважно, как это называется: эмиграция, или репатриация. Я говорю сейчас не о духовной стороне, а о чисто бытовой. Приехали в новый для себя мир, прожив уже большую половину жизни, приехали с несколькими чемаданами и со ста восьмьюдесятью долларами, полученными на двоих перелетом (по великолепному курсу — 60 копеек за доллар). И надо начинать жить, надо решать вопросы с жильем, питанием, транспортом, оплатой за учебу, электричество, да разве все перечислишь...

А эти вопросы в разные периоды решались по-разному. Страна всегда оказывала максимально возможную помощь репатриантам,

но она не могла быть одинаковой независимо от того, десять — пятнадцать тысяч в год приехали, или двести, как в 90-ом и 91-ом. В 1989 году прибыли, если не ошибаюсь, десять или пятнадцать тысяч. А мы с Ниной прилетели в начале февраля девяностого года, то есть в самом начале того миллиона репатриантов, который дала последняя алия, и именно об этом периоде я и хочу рассказать.

Первый год с нас были сняты всякие материальные заботы: полностью оплачены аренда хорошей двухкомнатной квартиры и полугодовой курс обучения в ульпане, ежемесячно я получал в кассе городского отдела абсорбции чек, в который входила определенная сумма на питание, я ее запомнил — это шестьсот шестьдесят шекелей, (для того времени — совсем неплохо), на транспортные расходы, коммунальную плату и электричество (выплата на электричество в зимние месяцы увеличивалась в полтора раза), на что-то еще, наверно, я уже все не помню. Конечно, особо не разбежись, но для скромной жизни на первое время — вполне достаточно. В связи с этим мне вспоминается наша с Ниной первая покупка, не считая продуктов питания, конечно. Нам надо было поздравить кого-то из москвичей с Днем рождения, и мы отправились в супермаркет, там был целый небольшой отдел поздравительных открыток. Глаза разбежались от разнообразия открыток и цен на них. Мы очень долго перебирали открытки, не зная — какую купить, и все это время за нами издали наблюдал какой-то довольно пожилой человек в строгом, как сейчас помню, костюме. Выбрали самую красивую и, само собой разумеется, самую дешевую, за пятьдесят агорот. И вот тогда этот мужчина подошел к нам, взял у нас из рук открытку и деньги, подошел к кассе, выбил чек, вложил открытку в красивый целлофановый пакетик, приложил к пакету чек и какую-то очень красивую выходящую ленточку, скрепил все это металлической скрепкой и, с легким полупоклоном, вручил покупку Нине со словами: — Тогда раба! Для совсем негра-

мотных провинциалов из разных там России, Америки, и прочих Австралий, это значит — Большое спасибо! Это была действительно наша самая первая несъедобная покупка в Израиле.

Страна готовилась к приему большой алии. Конечно, сейчас легко говорить о том, сколько было ошибок, что было сделано неправильно, что было сделано плохо; и вообще, что они там думали. К сожалению, таких критиканов было и есть достаточно. Много, например, говорили и писали о том, что вместо того, чтобы развернуть мощное строительство жилья, закупили много тысяч (а точнее — десятков тысяч) «караванов». Да простят меня мои израильские друзья, но мне опять приходится отвлечься, чтобы объяснить что это такое, моим близким и друзьям, которые — не израильтяне, и не испытывавшие счастья жить, или хотя бы видеть эти караваны. На самом деле ничего страшного в них нет. Это небольшие легкие домики на две маленькие квартирki, полностью подготовленные для жилья; их провозят на трейлере, краном устанавливают на заранее подготовленное место, подключают электричество, воду, канализацию, газ, и можно вселяться. В каждой такой квартире маленькая кухня-столовая, спальня, туалет, и душ. Как временное жилье, это было совсем не плохо. Прошло несколько лет, и караваны постепенно исчезли: люди немного освоились, начали работать, приобретать собственные квартиры, или дома в поселениях.

Так вот — что правильно, а что неправильно я су-

тических голосов о том, что лучше, мол, было бы — подождать несколько лет, но потом получить квартиру в лучшем доме, нет ни одного голоса семей, ютившихся много лет в одной комнате коммунальной квартиры.

А мы, кстати, тоже прожили в караване полтора года. И ничего страшного, хотя нам пришлось пережить в нем самую снежную за многие десятилетия зиму в Израиле. Но об этом — позже.

Да, страна готовилась к приему большой алии. Конечно, были какие-то недостатки, упущения, не без этого. Но ведь и полмиллиона репатриантов, за какие-то три года приехали в Израиль первый раз! Короче: я абсолютно убежден, что хорошего, в вопросах приема, обустройства, и обеспечения репатриантов, было гораздо больше, чем недостатков.

Но это все сторона официальная: страна принимает, значит, она должна как-то и организовать помощь в первый период жизни в стране. Меня гораздо больше тронула помощь людей, не имеющих никакого отношения к официальным, государственным организациям. А это было массовое явление; многие тысячи, а точнее — десятки тысяч жителей Израиля поднялись на помощь приезжим. Было такое течение — у каждой новой семьи должна быть опекающая семья ватиков, проживающая здесь уже десять-пятнадцать лет. Я расскажу, как это было у нас.

В один из первых дней я пошел в Министерство абсорбции по какому-то делу, и увидел на стене объявление, что вот в такой-то комнате можно сделать бесплатную полугодовую подписку на газету «Наша страна». Забегая вперед, хочу сказать, что вскоре эта газетка исчезла. Вместе со своей ведущей журналисткой Ривкой Рабинович, которая убеждала всех в каждой статье, что надо все отдать бедным палестинцам, а самим, завернувшись в белые саваны, начать медленное движение в сторону моря.

Да, зашел я в эту комнату, никакой подписки там не было, но разговорился с работавшей там очень приветливой женщиной, Аливой Валик. Она долго меня расспрашивала: когда мы приле-

тели, откуда, кем работали в Союзе, наши первые впечатления, где и как устроились, есть ли семья, помогающая нам. Много о чем по-говорили и расстались, довольные друг другом.

Через несколько дней дома зазвонил телефон. Незнакомый женский голос:

— Здравствуйте! Вы Марк Эдельштейн? Разрешите к Вам зайти?

Через несколько минут — звонок в дверь. Входят двое, симпатичные, приветливые лица. Арина и Женя Вассерман, они в Израиле с 72-го или 73-го года, живут недалеко от нас. Познакомились, наговорились обо всем, больше, конечно, они нас расспрашивали, понравились друг другу. Сразу заметили, что с первых же дней, для начала нормальной жизни, нам необходим холодильник, стиральная машина, плита, посуда... Все это стало повалиться у нас в ближайшие дни, конечно, не новое, но в нормальном рабочем состоянии. Появилась кухонная и столовая посуда, какие-то предметы мебели, одежды. Благодаря Арине Нина начала работать: шить сумки у одной американки, Нэнси (а мы — русские), и проработала у нее много лет. А однажды Арина мне говорит: — Поедем сегодня ко мне на работу, я познакомлю тебя с одним человеком, который, возможно, сможет тебе очень помочь.

В центре Иерусалима, около Русского подворья, идем по какому-то узенькому переулочку, и заходим в проходную. Арина показывает пропуск, а мне выписывают разовый, и мы заходим на территорию.

— Арина, куда ты меня привела?

— Это радио «Кол Израель».

— А ты что, работаешь на радио?

— Да, я диктор, Рина Донат.

— Что-о-о? Ты — Рина Донат??? У меня со скрипом отвисает челюсть.

— Да я же тебя пятнадцать лет слушал, чуть ли не каждый день, сквозь все глушилки пробивался, чтобы услышать! — Читала Рина Донат. И это ты?!?!

Вот такая вот не выдуманная история.

Прошло уже пятнадцать лет, но с Ариной и Женей у нас по-прежнему самые теплые и дружеские отношения.

Однажды Нина зашла в наш районный клуб и увидела там Авиву, ту самую нашу первую знакомую в Израиле. Разговорились. Она спросила:

— Как там твой летчик поживает?

— Да нормально, здоров. А он у меня не только летчик, но и переплетчик.

— Да? А что же ты раньше молчала?

И тут Авива берет телефон, набирает какой-то номер, и Нина слышит:

— Фаня, у меня тут знакомый есть; я думала, что он только летчик, а он, оказывается, еще и переплетчик.

Оказывается, Фаня работает в одной из больших университетских библиотек. Так началась моя работа в Израиле, и она продолжается там до сегодняшнего дня, давая существенную прибавку к получаемому нами пособию. В Москве я действительно много лет увлекался переплетным делом. Но я даже представить себе не мог, что это может иметь хоть какое-то отношение к профессиональной работе; как оказалось — я был к ней вполне готов.

У меня было еще одно многолетнее увлечение: древняя история, еврейская история, археология. И вот я приехал в Израиль, да еще — в Иерусалим!!

За первые два года я окончил много разных курсов: экскурсоводов по Музею истории Иерусалима, по Иерусалиму, по стране, лекторов по истории Израиля. Устраиваться в туристические фирмы я не стал, так как у меня уже была постоянная переплетная работа, а стал я экскурсоводом-добровольцем.

Это был период пика большой алии из России, и я регулярно после работы, или, отпросившись с работы, проводил многочасовые экскурсии и рассказывал о нашем Иерусалиме. Таким образом, мне пригодились здесь оба моих хобби: одно,

как говорится, для кармана, а второе — для души. И, честное слово, не знаю — что было для меня в то время важнее!

Постепенно пришло время думать о постоянном жилье. Жили мы тогда на съемной квартире в Рамоте, это новый район, построенный после Шестидневной войны, в трех минутах ходьбы от дома, где снимал квартиру Рома с семьей. О том чтобы нам с Ниной купить квартиру, да еще в Иерусалиме, и речи быть не могло. Была, правда, в то время возможность для людей нашего возраста и положения получить государственную, то есть амидаровскую, квартиру. Но далеко, в Цфате. Мы даже получили адрес двух домов, где могли предварительно посмотреть, и выбрать квартиры (правда, это не давало еще никаких гарантий их получения). Но накануне поездки Рома сказал нам: — Дорогие родители! Вы для того приехали в Израиль, чтобы жить в другом конце страны и, в лучшем случае, один раз в три месяца иметь возможность приехать и увидеть своих детей и внуков!? И вопрос был решен.

Маленькое печальное отступление. Вчера, тринадцатого января, перечитал я написанное, и вспомнилось мне что-то опять Валя, и один из последних наших полетов перед его уходом на должность пилота-инструктора: на нас в этом рейсе накатали жалобу самому Бугаеву, министру гражданской авиации. А дело было так. Шли мы из Анадыря, с полной загрузкой, то есть — двести пассажиров, находились где-то в районе Таймыра. Неожиданно входит в кабину старшая stewardess, бригадир, и говорит, что одному пассажиру плохо, что-то с сердцем. Я вышел в салон, вижу — сидит офицер, майор, на вид лет сорока, и действительно ему очень плохо. Вокруг девочки наши суетятся: таблетки дают, воду. Обратились к пассажирам, нашелся врач; посмотрел, пощупал, послушал. Вроде, говорит, ему сейчас лучше стало, ничего страшного.

Ну, мы немного успокоились, а минут через десять опять бригадир вбегает: совсем плохо парню! Валя:

— Марк, куда можем?

— Куда, только на Новосибирск: до него тысяча с небольшим, а до Москвы больше трех!

— Разворачивайся на Новосибирск!

Доложили об изменении маршрута, о причине, дали время прибытия, вызвали к самолету Скорую, врача. Сели мы в Толмачево (это Новосибирский аэропорт), больного увезли в больницу, а мы пошли спать. После отдыха прилетаем в Москву, а у трапа стоит машина: командира и штурмана срочно к Начальнику Управления! А высокое начальство на нас чуть ли не с кулаками. Оказывается, пассажиры наши, узнав, что мы пошли спать, и вылететь откладывается на много часов, «ничтоже сумняшесся» тут же отбили телеграфную жалобу на имя министра. А тот — указание в наше Управление: разобраться, наказать, и доложить! Разобрались, доложили, но не наказали, так как мы просто не имели права лететь дальше. Дело в том, что иначе мы бы нарушили дневную санитарную норму полета. А это — действительно нарушение одного из основополагающих наших законов.

А к чему я рассказываю эту историю? А к тому, что я вот вспомнил ее и подумал, что надо Вале позвонить, заодно и с Новым годом (старым — новым, такое сочетание слов кроме нас, наверно, никому не понять) поздравить. Набираю номер, отвечает Лиза, жена.

— Марк, это ты! — и плачет. — У Вали был инсульт, у него уже три месяца половина тела парализована. Меня — как обухом... Валя, здоровый, крепкий, энергичный, совершенно спокойный в самых критических ситуациях, и вдруг — инсульт, паралич! А потом я подумал, что это он для меня был всегда молодым: как же, на четыре года моложе! А ведь ему уже семьдесят один, да с одним из сыновей последние годы были серьезные неприятности. Это, возможно и послужило причиной... В общем — снаряды ложатся все ближе, и ближе...

Но, вернемся в год девяностый. Осенью Нина улетела в Москву на девяностосемилетний юбилей мамы. У нас, в Изра-

иле, обстановка очень напряженная, чувствуется приближение войны. Той самой, которую потом назвали Войной в Персидском заливе. Нет, мы воевать не собирались, но Саддам Хусейн заявил, что в случае американского нападения — он нанесет удар по Израилю, и Израиль отнесся к этому достаточно серьезно. Все население страны получило противогазы, в каждом доме или квартире была оборудована загерметизированная комната, куда надо было пойти по тревоге и одеть противогаз. Рекомендовалось держать включенным радиоприемник, нам, «русским», отведена была специальная частота.

Первая тревога... Ночью меня разбудила сирена. Вскочил, оделся и собрался бежать к детям, к внуку. Но тут неожиданный звонок. Открываю, в дверях плачущая соседка с первого этажа и трое ее детишек, мал-мала меньше:

— Я боюсь, никто не открывает дверь, все уже заперлось, я одна с детьми, мне страшно!

— Заходите, заходите! А муж где?

— А он молится у Стены плача.

— Ну, ну!

Зашли мы в подготовленную комнату, я заклеил закрытую дверь клейкой лентой, успокоили кое-как плачущих детей, все надели противогазы и сидели так до отбоя. Маленькое пояснение: тревога объявлялась только тогда, когда поступало сообщение, что с территории Ирака запущены ракеты в сторону Израиля. После нескольких таких «тревожных» дней звонит Нина:

— Марк, что у вас там происходит в Иерусалиме?

— Да ничего, у нас все в порядке.

— Как в порядке, что ты говоришь! Здесь, в Москве, по телевизору показывают горящий и разрушенный Иерусалим!

— Ниночка, в Иерусалим не попала ни одна ракета, я не знаю, что там Москва показывает, у нас не разрушен ни один дом, не погиб ни один человек. У нас все в порядке.

Звоню Ариэ: — Что происходит? Что там Москва показывает?

Оказывается — какой-то российский журналист, работающий в Израиле (если память мне не изменяет — Петров, впрочем — я не уверен), передал в Москву пленку с горящим и разрушенным Багдадом, выдал его за Иерусалим. Израильские журналисты бросились его разыскивать, но — тщетно: ни в гостинице, где он жил, не в его офисе его не нашли, он где-то скрывался. Вот такая была малоизвестная история.

Однако всему есть свой конец. Война закончилась, Нина вернулась из Москвы, и вплотную встал вопрос о постоянном жилье.

И тут мы узнаем, что совсем рядом с Иерусалимом, в пяти километрах от нашего Рамота, в поселении Гивон а-Ходаша есть проект строительства тридцати четырех коттеджей для olimov из России, и уже подбирают кандидатуры. Вначале оказалось, что мы опоздали; списки уже составлены, и счастливицы уже оформляют машиканты (для россиян, покупающих дом, только если есть чемодан с деньгами — это багровская ссуда с выплатой в течение двадцати восьми лет). Но через некоторое время кто-то передумал, отказался, и мы тоже оказались в числе счастливиц, принятых в члены поселения Гивон а-Ходаша. Этот проект задумали и «пробили» одиннадцать семей вашиков, бывших в числе основателей поселения, а всего в то время в ишуве жило восемьдесят шесть семей. Забегая вперед, могу сказать, что сейчас количество семей увеличилось до трехсот, а может и несколько больше. С одной из этих семей, с Кирой и Алексом Тылис, нас на много лет связали теплые, дружеские отношения. Благодаря им, мы с Ниной многое узнали, и многое увидели в Израиле. К сожалению (к нашему сожалению) они уже второй год живут в Америке. Правда — телефон, Интернет, дочка в нашем поселении и компания Эль-Аль как-то несколько сокращают расстояние.

Несмотря на то, что наш ишув находится всего в пяти километрах от Рамота, и в двенадцати километрах от центра Иерусалима, это уже «территории», те самые территории, ко-

торые в шестьдесят седьмом году «израильская военщина»...
Помните, у Галича:

Израильская военщина,
Известная всему свету.
Как мать, говорю
И как женщина —
Призвать их всех к ответу!

Так что мы тоже, как говорится, какие-никакие, а поселенцы, и это одна из причин, по которым нам глубоко отравительны события в Гущ-Катин, и в форпосте Амона. Почему я так неуважительно? Да просто потому, что фактически мы живем как в спальном районе Иерусалима и нам, конечно, гораздо легче, чем поселенцам более дальних районов «аитаким». Вот они — поселенцы! И, в моем понятии, самая уважаемая часть населения Израиля!

А нам всем предложили переехать, пока будут строиться наши дома, в небольшой караванный поселок, возведенный специально для нас на окраине ишува. Это давало нам всем возможность сэкономить значительные деньги на аренду квартиры и, кроме того, познакомиться с людьми, с поселением.

Там мы прожили полтора года. Там, в караванах встретили и самый сильный снегопад за многие, многие годы. На три дня вся жизнь в Иерусалиме, можно сказать, была остановлена. У нас все было занесено высокими сугробами. На третий день к нам пробился трактор с продуктами, собранными жителями поселения в своих холодильниках.

Конечно — жизнь была не очень комфортная, но в каких-то трехстах метрах от нас мы видели растущие наши дома, и это нам здорово помогало переживать некоторые бытовые неудобства.

А в декабре девяносто второго года мы въехали в свой новый дом!

На первом этаже — полноценная трехкомнатная квартира, там живет Роман с семьей. На втором — тоже три комнаты, но

гораздо меньшего размера. Но зато есть большой балкон на двадцать шесть метров, который мы собираемся (давно собираемся) закрыть и превратить в две комнаты.

А пока он еще есть, выйдем на него и оглядимся. Оно того стоит.

С балкона открывается панорама большой плодородной долины. Километрах в двух от нас виден громадный фруктовый сад. А за садом гора, на вершине которой возвышается большое здание. Это здание — церковь, построенная крестоносцами над могилой величайшего пророка еврейской истории — Шмуэля (Самуила), помазанного на царство Саула, первого царя объединенного Израиля, а потом — Давида. С вершины этой горы крестоносцы, во главе с французским герцогом Гийомом Бульонским, будущим первым королем Иерусалимского королевства, впервые увидели Иерусалим, и назвали ее Горой блаженства. Потом, взойдя на вершину этой горы, Ричард Львиное Сердце закрыл глаза, чтобы не видеть город, который ему не суждено было взять. Впечатляет? Это вам не вид на кремлевские звезды!

Но это только начало. Слева от Горы Шмуэля, на таком же расстоянии от нас, возвышается еще одна гора, на ней располагается арабская деревня Эль Джиб. А когда-то, три с лишним тысячи лет назад, там был большой город Гивон (вот откуда название нашего ишува Гивон а-Хадаша — Новый Гивон!). Это был город Саула, Давида, Соломона. В Гивоне хранилась Скиния Завета, и в Танахе подробно описывается, как ее торжественно увозили в Иерусалим, в построенный царем Соломоном Храм. О событиях, связанных с Гивоном, много написано в Библии (Танахе), но я напомним только об одном, самом известном. Все, так или иначе, помнят, слышали, что Иисус Навин (Игошуа Бен Нун) остановил Солнце, но подробности, обстоятельства этого события знают не все. А дело было в том, что во время битвы с хананеями, происходившей в долине перед нашим балконом, евреи побеждали, и хананеи могли спасти только наступающая темнота. И тогда Иисус Навин поднял

руки к небу и воскликнул:

— Остановись Солнце над Гивоном, а Луна над Долиной Аялонской!

Аялонская долина находится в нескольких километрах от нас. Вам уже ясно, что во мне заговорил историк. Я мог бы еще много рассказывать о том, что нас здесь окружает. Но уже всем понятно, в каком волшебном, фантастическом, и изумительно красивом месте мы живем!

P.S. Этот небольшой очерк я хочу закончить стихотворением Марка Генкина, племянника Нины, навеянным видом с нашего балкона во время его первого приезда в Израиль. Марк — человек незаурядный. По образованию он врач стоматолог, но вот проявился у него талант художника; его картины висят в клинике, где он работает, в еврейском центре в Марыной роше. А потом появились несколько книжек его стихов. И в одной из них, «Еврейские мелодии», мы обнаруживаем посвященное нам стихотворение.

Гивон Хадаша.

С балкона вашего такой волшебный вид
На холмы Иерусалима
(чуть не сказал — На холмах Грузии)
И на дорогу с фарами машин в ночи,
Ведущую зигзагами к нему.

Машины, словно рыбы, плывут себе
в беззвучии
И свет их фар — как будто бы усы тех
рыб волшебных.

Лишь мерное листвы олив
шуршание колочее,
Да блеянье овец среди камней
голубовато-бледных.

Уставший небосвод темнеет.
Первая звезда виднеется.
Прохлада дома и сад накрыла,
И вдалеке — могила Самуила.

И мотылек ночной над лампой вьется.
Местечко это Гивон Хадаша зовется.
Здесь, говорят, Иисус Навин неверных бил,
И Солнца ход остановил...

Теперь живете вы с семьей.
Я радости своей, увидев вас, не скрою.

P.S. (Моя многомудрая жена, проведя инспекцию написанного, потребовала закончить еще одним стихотворением из этой книжки. Я, вначале, возмущился и дал ей должный отпор. А потом подумал, и понял, что она, как всегда, права.

Роме и Нине Эдельштейн

Я — семит..
И в глазах — вековая печаль,
Вековая тоска,
Вековое отличие.
Синагога моя
Пусть бедна, холодна,
Но ведь Богу —
Не надо величия.
Настоящему Богу
Вера важна, вера нужна,
Вера в свое наличие.
Нас веками травили, топтали,
Со скотами не видя различия,
Но душа не теряла величия...
В душегубках душили,
Звезды желтые шили,
Но огня не лишили.
Душа устояла, себя обрета.
И вот над миром восходит,
Свободу святя,
Все мрачные гетто развеяв,
Голубая звезда иудеев!

Золотой Иерусалим

Этот очерк я посвящаю моему папе, Соломону Моисеевичу, Шломо Бен Моше.

Собственно, и писать я здесь буду о папе то, что я о нем знаю. А знаю я, к моему великому сожалению мало, очень мало. Это сейчас, став намного старше и чуть-чуть мудрее, я понимаю, что надо было расспрашивать его и слушать, слушать, слушать... Но «нет пророка в своем Отечестве»: вначале – ребенок, мальчик, папа – как у всех любящий, умный... Потом, еще семнадцать не было, ушел в армию, поступив в Военно-Морское авиационное училище, потом служба на Тихоокеанском флоте. Раз в год, да и то не всегда, прилетал на месяц в отпуск. Тоже не до долгих разговоров было: молодой, свои интересы, свои проблемы. Да и папа не стремился рассказывать о своей жизни: беспокоясь о своем сыне, молодом человеке, он хорошо понимал, что лучше мне не знать лишнего, времена были тогда еще весьма суровые.

А я был вполне достойный продукт своего времени: с шестнадцати лет армейская жизнь, политинформации, замполиты, научили думать «как надо».

Вспоминается несколько историй, в отношении к результатам которых у меня не было никаких сомнений.

Однажды у нас на курсе пошел слух о том, что этой ночью у старшекурсников, выпускников, арестовали и увезли семь человек. Оказалось, что вся эта компания накануне вечером, собравшись в баталерке (это комната, где хранились наши личные вещи), травил анекдоты. Да какие – про Сталина!!!

А вторая история произошла с моим приятелем, Сашкой Носыревым. Мы с ним вместе провели в двух училищах четыре года. Оказалось, что он не только скрыл, что «был в оккупации», что само по себе уже было преступлением в то вре-

мя, но и (страшно подумать!) вместе с семьей был в Германии! И его забрали прямо с предпоследнего экзамена, за три дня до окончания училища и вручения лейтенантских погон! А как же иначе? Как же таким людям можно доверять!? Они же скрытые враги!

Прозреть я начал только весной 1953 года. А точнее – это произошло 4 апреля, утром, во время завтрака, в офицерском зале нашей полковой летной столовой. В комнате – пять столов, двадцать человек. За моим столиком кроме меня – трое: комзск майор Гузев, мой командир звена – капитан Капица, и еще кто-то, забыл. Все трое много старше меня, да и вообще в полку я был самый молодой летчик. Сидим, кушаем, за каждым столом какие-то свои разговоры. Заговорила висевшая на стене черная тарелка, последние известия. И вдруг:

– Передаем сообщение ТАСС!!

И затем слышим Указ о реабилитации и освобождении «врачей-убийц»!!!

Всеобщее молчание. И среди этого молчания – один голос, мой: – Что же их сволочей не повесили, почему отпустили?

В ответ – гробовое молчание. Никто даже голову не поднял от тарелки. Значит, они все что-то понимали больше меня! И до сих пор я с ужасом думаю о том, что же они в тот момент думали обо мне? Тут два варианта: или – жиленок подпрыгивает нам, или, что не лучше, – что среди них сидит молодой идиотик, кретин.

И вот это общее молчание меня потрясло. Я понял, что что-то не так. И с этого момента, с этого дня я начал думать, размышлять.

А потом, через какое-то время, в дни очередного отпуска, Саша, это мой старший брат (он был старше меня на десять лет и был для меня непререкаемым авторитетом), предложил мне погулять по Москве. Мы пришли в безлюдный скверик на Болотной площади (это – против кинотеатра «Ударник», говорят – там казнили Пугачева), и там в течение нескольких ча-

сов Саша рассказывал мне о Сталине, о Берин, о НКВД, о истории с «врачами-вредителями», и о многом, многом другом...

Я был в шоке, я все это слышал впервые, но я не мог не верить Саше.

Вот так начиналось мое прозрение.

Еще одно воспоминание, связанное с этой темой. Однажды, летом 1956 года нас, весь офицерский состав полка, собрали в штабе. Зачем – мы не знали, но с удивлением обратили внимание на вооруженную охрану у всех окон и входных дверей. Оказалось – привезли знаменитое «Закрытое письмо», о котором ходило много разных смутных слухов – это доклад Хрущева (или письмо по докладу Хрущева) о разоблачении «культ личности» Сталина на XX съезде. Чтение продолжалось более двух часов. В зале была такая мертвая тишина, что, казалось, мы и дышать забывали.

Люди младшего поколения даже представить себе не могут того потрясения, того шокового состояния, испытанного нами при чтении этого письма. Я хотел написать – молодёжь, но потом подумал, что это относится и к людям пятидесятилетним, и даже несколько старшего возраста. Всем им трудно было представить себе, что такое для нас был Сталин! Ну, не буду развивать эту тему, о ней уже столько написано, да не такими перьями, как мое!

В середине августа 1960 года после демобилизации мы вернулись в Москву. Мы – это значит я, Нина и наш трехлетний Ромочка. Это был знаменитый хрущевский разгон армии. Я не знаю, что касается других родов войск, но авиации хребет был тогда переломан основательно, и она не могла после этого восстановиться несколько десятилетий. Я предполагаю, что и сейчас это еще как-то сказывается. Были уничтожены, порезаны, тысячи (тысячи!!) новых самолетов. Десятки тысяч летчиков, штурманов, инженеров, техников, других авиационных специалистов были выгнаны из армии, причем у летного состава противозаконным образом отняли, или, в лучшем слу-

чае, уменьшили вдвое уже заслуженную пенсию.

Для нашего полка разгон и демобилизация были полной неожиданностью. Ходили какие-то смутные слухи о возможном сокращении армии, но мы были уверены, что к нам это не относится. Последний год я служил, после перевода с Тихоокеанского флота, в Грузии, в Поты, где на озере Палеостомы базировались наши тяжелые летающие лодки Бе-6, полк дальней разведки и противолодочной обороны. И мы были абсолютно уверены, что никакое сокращение армии нас не коснется: если ракеты, о которых тогда много говорили, могут заменить, предположим, бомбардировщики, торпедоносцы, истребители (все это, с большой натяжкой, можно допустить), то кто может кроме нас вести дальнюю разведку в море, противолодочную оборону наших кораблей и военно-морских баз? В общем – мы были спокойны.

И на примере моего экипажа можно представить себе – в какой же сволочной системе мы жили, за каких же нелюдей (по себе, видимо, судили) нас принимали.

Началось все очень хорошо. Экипаж получил задание вылететь в Евпаторию, на морской аэродром Донузлав, на учения Черноморского флота, на две недели. На Донузлаве базировалась эскадрилья реактивных летающих лодок Бе-10, единственных в мире. Полет произвести «с поиском мин».

Вот об этом я должен рассказать подробно, это был самый необычный полет в моей жизни. Обычно любой полет производился по какому-то определенному маршруту. В данном случае можно было прочертить прямую линию между Поты и Евпаторией, рассчитать курс и этим курсом лететь, никуда не сворачивая. Так обычно и делали. Но летом, в ясные солнечные дни получали вот такое задание: лететь строго над береговой чертой, повторяя все ее изгибы, на очень малой высоте, т.е. пятьдесят-сто метров! Идея такого полета – высматривать в прибрежной полосе нет ли там случайно занесенной с моря мины. Мин мы, конечно, никаких не находили, но представьте

себе, какая же красота — за четыре-пять часов в разгаре яркого солнечного дня и пляжного сезона пройти над всеми кавказскими и крымскими пляжами, не пропуская ни одного! Пилоты по очереди крутили штурвал, повторяя все изгибы берега, а мне, штурману, делать было абсолютно нечего, только смотреть на разлетающихся курортников. Такого насмотрелся!!! Как вспомнишь, так вздрогнешь.

В один прекрасный день возвращаемся мы после десятичасового полета (держали противолодочный рубеж), ставим, как обычно, самолет «на бочку» и на катере сходим на берег. И тут местный «особняк» нам сообщает: — Ваш полк расформирован, личный состав подлежит демобилизации. В самолет вам входить запрещено. Вам поездом приказано прибыть в Потти.

Вот тебе, бабушка....

После долгих переговоров мы, с вооруженной охраной (вернее под вооруженной охраной), на катере подошли к своему самолету, забрали свои вещи, документы... И на этом кончилась моя служба в Морской авиации.

Чего наша родная власть боялась? Что мы тут же «изменим» нашей родной социалистической родине и рванем в Турцию? Или направим нашу боевую машину в Москву и бросим ее, вспомнив подвиг Гастелло, но на Кремль? Только час назад мы вернулись после выполнения сложного учебно-боевого задания, и вот мы уже потенциальные предатели Родины, и нам уже не доверяют подойти к своему самолету!!!

Командование наше, по-видимому, несколько раньше нас знало о предполагаемой нашей демобилизации. Об этом можно судить по истории с кортиками. Вроде бы мелкий эпизод, но достаточно характерный. Морской кортик — на двух муаровых лентах, золоченая рукоятка, с золочеными же львами на ножках. Красота! Кортик — это не оружие, это принадлежность формы, парадной формы морского офицера (потом «сдали зеленые», не выдержали, и тоже нацепили себе кортики, правда не с морскими львами, а со звездами, вначале — летчики, а

потом — и все остальные, кажется). Выдается он при присвоении офицерского звания, при окончании училища, вместе с офицерским Удостоверением личности. Но, опять-таки, у нашего выпуска все было не как у людей: мы получали заветный кортик через несколько дней, накануне отъезда, по предъявлении билета на поезд. Причина? За год до этого, в день предыдущего выпуска, один из молодых офицеров, напившись на радостях до поросычьего визга, пустил его, кортик, не по назначению, после чего поехал не домой, а в места «не столь отдаленные». Ну, и наш Начальник училища решил не рисковать... Дается кортик один раз, нигде не записан, и никогда не проверяется. А дальше предполагается, что практически каждый офицер, дослужившись до пенсии, уходит «на гражданку» с правом ношения формы, а, следовательно — и с кортиком. А тут намечается массовое увольнение молодых, не выслуживших пенсию офицеров. И большинство не захотят отдавать, скажут: — Потерял, украли еще пять лет назад...

И вот по какому-то поводу, уж не помню, было объявлено построение офицерского состава полка при полной парадной форме. А там проверили наличие, переписали номера... И уже не скажешь, что потерял, украли...

Значит, знали они там...

Что такое — быть неожиданно, не по своей вине, выгнанным из армии после многолетней службы, без специальности, без пенсии, без жилья, но уже — с семьей, без всякой надежды еще когда-нибудь подняться в воздух — это тема отдельная, тема большая, об этом — в другой раз. Но об одном воспоминании о том времени не могу не рассказать.

Отец одного мальчика, с которым мой сын был вместе в детском садике, полковник то ли Генерального штаба, то ли Министерства обороны, в общем — с тех военных высот, рассказал мне о многих тысячах писем, поступавших в то время в ЦК, Президиум Верховного Совета, в Министерство обороны, в другие высокие организации. Содержание всех этих писем,

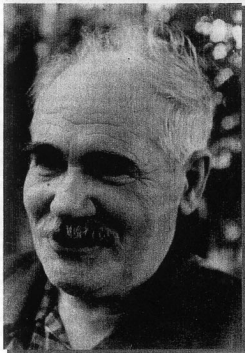
усреднив, можно передать примерно так: — Я в восемнадцать лет добровольно пошел в Советскую Армию, поступив в военное училище. И вот после многолетней службы меня неожиданно выгнали, как собаку, не дав дослужить до пенсии (три года, год, полгода....). И я теперь без гражданской специальности, без жилья, без пенсии, оказался в том же положении, в каком я был после окончания школы, но имея семью, детей. И что же вы думаете: если мы опять понадобится, то мы опять со штыками наперевес будем кричать — «За Родину! За Сталина!»? Вот так мне запомнилось то, что он мне рассказал.

Мне несказанно повезло: через два года мне удалось вернуться на летную работу, и я пролетал еще двадцать пять лет.

А тогда, вернувшись в Москву уже взрослым человеком, я стал, естественно, больше общаться с родителями, с братом. И тогда я начал понимать, как мало я знал папу, и как мало я знал о его жизни. Мне несколько раз приходилось слышать от него, что единственной настоящей революционной партией, имевшей четкую политическую и экономическую программу, была партия эсэров. Но я и представить себе не мог, что папа сам был эсэром. Я написал последние слова, и мне как-то жутковато стало, (сильно же полученное нами воспитание) сразу вспомнились многочисленные «революционные» фильмы, где эсэры всегда какие-то «гнилые» интеллигенты в темных костюмах и котелках, с усами, страшно суетливые, трусливо дергающиеся от каждого настоящего рабочего слова, и всегда говорящие какие-то глупости.

Так вот, несмотря на это папино высказывание об эсэрах, на рассказы об Азефе, (а я о нем впервые узнал от папы), мне и в голову не приходило, что он может иметь к этому какое-то отношение.

А он имел и самое прямое. Больше того, папа был членом Савинковской боевой организации эсэров. И еще более того, он был кандидатом в члены Учредительного собрания, и в этом качестве папа был, на гостевой трибуне, на первом и последнем его заседаниях. Значит, он и знаменитого матроса видел!



*Саламон Моисеевич Эдельштейн
1885 – 1970*

Кстати, несколько дней назад я где-то прочитал (кажется в книге А. Бушкова «Россия, которой не было»), что Железняк был совсем не большевиком, а анархистом и погиб в Гражданскую, командуя отрядом анархистов.

Вовремя поняв «что к чему», папа, как говорится, лег на дно. Они с мамой переехали в Москву. Папа всю жизнь проработал бухгалтером. И всю жизнь они прожили в страхе: ведь эсеров, как и представителей всех других партий, кроме большевистской, уничтожали при Сталине как бешеных собак. А больше всего, как мне мама потом рассказывала, они боялись ночных звонков. И случайных встреч со старыми знакомыми. Одна такая встреча все-таки произошла. Это было где-то в конце двадцатых, или в начале тридцатых годов. На каком-то вечере, в гостях, они увидели старого знакомого, из той жизни, который в то время уже занимал достаточно высокий пост. Все трое страшно перепугались. Какое-то время родители жили в постоянном страхе, ежеминутно ожидая ареста. Но — обошлось. А я, вспоминая об этом случае, думаю — зря опасались. А изображение у меня такое: если большевик «стукнул», что он встретил бывшего врага, скрывающего свою суть, то он, конечно, заслуживает если не награды, то — благодарности. А если один «бывший» доносит на другого такого же, то он и себе выносит смертный приговор... И тот, наверно, тоже не спал много ночей...

Но «ночной звонок» однажды все же прозвенел, когда его уже, пожалуй, и ждать перестали.

В полночь, когда все уже спали, раздался звонок, (а это была коммунальная квартира, соседи тоже проснулись), и в комнату вошли несколько человек: два офицера, дворничиха из их дома, и еще двое «в гражданском».

Предъявили ордер на обыск, и начали перетрашивать все в комнате. Сам обыск папу не пугал, ничего запрещенного дома не было... Кроме одного небольшого листка бумаги, но это была Декларация независимости Израиля! Кто постарше — по-

нимает, что такое это было в то время. И лежала бумажка эта в одной из книг на полочке среди других книг, которые уже по очереди просматривал пожилой человек, еврей. Его, наверно, взяли как эксперта по еврейскому языку. И вот он, просматривая книги, все ближе и ближе к той книге, наконец, берет ее в руки, начинает листать. Папа рассказывал, что он в этот момент почти дышать перестал от ужаса. И вот этот пожилой еврей вдруг задержался на середине книги (на Декларации!), поднял голову, посмотрел на маму, встретился глазами с папой... Захлопнул книгу, поставил ее на свое место, и продолжил свою работу.

Прошло полвека, и вот сейчас, в 2005 году, в Израиле, в Иерусалиме, передо мной лежит этот протокол обыска. Я воспроизвожу его полностью за исключением некоторых слов, которые затерты и уже не поддаются прочтению. Протокол небольшой. Но интересный.

Протокол обыска.

Мы, сотрудники Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР Майоры Моисеев И.М. и Бойченко М.С. на основании ордера № А-9 от 25 апреля 1958 года, в присутствии областного Заместителя С.М., его заместителя Заместителя А.М. и двоюродной Козмисовой Е.М. руководствуясь ст. ст. 175-185 УПК РСФСР, провели обыск в квартире Заместителя Сахарова Моисеевича по адресу:.....

При обыске изъяты следующие:

1. Журнал № 29 на еврейском языке за июль 1957 года, изданный в Израиле на десяти листах — одна штука.

2. Песенник на еврейском языке, изданный в Израиле в 1957 году в одной брошюре.

3. Коперты с цветами и марками с печатным и рукописным текстом на еврейском языке и печатным текстом на английском языке «Поэты нашей страны», изготовленные в Израиле, две штуки.

4. Еврейский календарь на русском и еврейском языке на 1957-1958 годы, две штуки.

5. Записная книжка в дерматиновой обложке коричневого цвета... размером 11,5 на... миллиметров и двенадцать записками на 53 листах, одна штука.

Перечисленное в пунктах 1-5 опечатано гербовой печатью №5 КГБ при Совете Министров СССР в одном свертке.

Обыск производился с 22 часов 55 минут 25 апреля 1958 года до 03 часов 15 минут 26 апреля 1958 года.

Подписи — двух майоров.....

Обыскиваемого.....

Попыток.....

Копию протокола получил..... (Заместитель)

Вот такая бумага сохранилась у меня.

А потом увезли папу на Лубянку. Довольно долго, несколько часов, просидел в коридоре, потом – трехчасовой допрос. В самом начале папа понял, что к прошлому это не имеет никакого отношения.

Насколько я помню папу с самого детства, он не был верующим, не был религиозным человеком, но, возможно, он хранил это где-то глубоко внутри, скорее всего так оно и было. Во всяком случае, он с удовольствием часто рассказывал мне, ребенку, как его отец, мой дедушка, старый киевский плотник, придя с работы, поставив в угол свой ящик с инструментами и помывшись, долго молился, привязав (может быть – это как-то по другому называется, тогда я прошу меня извинить) ко лбу и рукам филактерии. А когда дедушка приехал к нам в Москву в гости в 1940 году, я помню его, такого большого, коренастого, с большой седой бородой и добрыми, добрыми глазами, то папа чуть ли не каждый день после работы ехал куда-то на Покровку в магазин, возле синагоги, чтобы купить дедушке свежие кошерные продукты.

Больше я дедушку не видел: через год он погиб в Бабьем Яру вместе двенадцатью своими родными – с одним из сыновей, четырьмя невестками, внуками...

Выйдя на пенсию (извините за выражение), папа стал часто ходить в синагогу. Иногда я видел, как он молится дома, накрывшись талесом.

Я опять отклоняюсь в сторону. Я не понимаю, почему я так неуважительно отзывался о папиной пенсии. Папа ушел на пенсию через год, или два после смерти Сталина, но законы пенсионные еще не менялись. Я утверждаю, что в сталинские времена пенсионные законы в СССР были самые лучшие в мире. Там было написано, что пенсия назначается в размере ста процентов от заработной платы. Где, в какой еще стране могло такое быть?

Правда, внизу странички мелкими, мелкими буквами было написано примечание: При условии, что зарплата не пре-

вышает 210 рублей. Но это же примечание, а сам текст то закона, какой!!! Короче говоря, узнав о том, что папа ушел на пенсию, я понял, что без помощи детей папе с мамой просто не выжить (а у кого нет детей?) и начал ежемесячно посылать им деньги. А что такое 210 рублей в то время? Прошло пятьдесят лет, я уже забыл цены того времени, помню только пару цифр: я, тогда еще молодой офицер, получал 2400 рублей, а как-то, будучи в отпуске в Москве, купил шелковую голубую рубашку под галстук за 250 рублей. Через два-три года что-то начало все-таки меняться, и пенсию увеличили аж до шестисот восьмидесяти рублей.

Да, так вот, после выхода на пенсию папа стал часто ходить в синагогу. А так как он был человеком очень, очень знающим, он прекрасно знал древнюю историю, библейскую историю и, кроме того, был хорошим и интересным рассказчиком, то у него там появилось много знакомых, таких же пожилых людей, как он. И в самом начале допроса он сразу понял, что дело не в его прошлом и, как он мне потом рассказывал, сразу почувствовал большое облегчение. По-видимому, взяли за что-то одного из его знакомых (скорее всего, как я теперь понимаю не за что, мы это уже не раз проходили), стали, как обычно, проверять круг знакомых. А у всех – записные книжки с телефонами, круг расширился...

А что папа был человеком очень знающим и интересным, я приведу два характерных примера.

Один папин приятель, такой же пожилой человек, однажды сказал мне: – Твой отец, Марк, это – это наш Бен Гурион! Вот из таких – там...!! И при этом он поднял указательный палец над головой, и потряс им.

Согласитесь – это о чем-то говорит!

А второй случай связан с Лешей Новобытовым. Это был (к моему величайшему сожалению я пишу – был) мой самый близкий друг. Такие друзья бывают один раз в жизни, да и не каждому посчастливится иметь такого друга.

И вот однажды мы с Ниной собрались к Леше на день рождения. А у нас в это время папа был, и Нина предложила взять его с собой. Меня это как-то немного смутило: собирается молодежь, сверстники, а мы с папой...

А Нина говорит: — Марк, ты что — папу не знаешь, он что, будет лишним?

Действительно, в первое мгновение дядя Леся и Нины (там тоже Нина, вообще у нас как минимум половина всех родных и знакомых женщин — Ницы) выразили некоторое недоумение. Но не прошло и четверти часа за столом, как папа стал центром внимания, и только его и слушали до конца вечера, и это отнюдь не из вежливости, и не из уважения к его возрасту.

А потом Леся мне сказал: — Как же ты раньше не познакомил меня с отцом? Это же удивительный человек! Когда он будет у вас, звони мне в любое время, я буду приезжать, чтобы поговорить с ним. Так и бывало потом.

С ними обоими был еще один случай, это вообще — какая-то мистика или, может быть, какая-то сверхъестественная проницательность папы.

В годы работы в Полярной авиации, я улетал в Арктику примерно на месяц, а потом дней двадцать, до получения следующего задания, был дома. И в эти дни двери нашего дома, как говорится, не закрывались. Подня народу, застолье. Веселье. И после одного такого вечера папа, который был у нас в это время, сказал мне:

— Марк, что это за компания, это же не друзья ваши, вы с Ниной скоро и забудете, кто у вас был. Я первый раз их всех видел, но скажу, что только двое из всей этой компании будут вашими настоящими друзьями: это Алексей и Галия.

Ну, о Леше я уже говорил, а Галия, наша Галка, уже со-рок пять лет наш самый близкий и родной человек. Она месяц была у нас в Иерусалиме, мы в Москве останавливаемся тоже у нее, хотя у наших многочисленных родных и знакомых квартиры побольше. Мы часто перезваниваемся, и вообще все

кругом знают, что это моя «младшая любимая жена». Как папа это увидел — уму непостижимо!

Я сегодня перебирал свои бумаги, и среди них нашел одно из последних писем от Саши, моего брата. Он знал о папином прошлом гораздо больше, чем я, и в этом письме он, как раз об этом писал. Этот небольшой отрывок его письма я привожу полностью.

«О своем дореволюционном прошлом папа рассказывал мало. В германскую войну он прослужил солдатом. Перед первым боем солдаты-евреи договорились: чтобы опровергнуть предубеждение о трусости евреев, в бой идти в наступление во весь рост, пулям не кланяться. Так и сделали. Большинство из них погибли в бою. Папа во время войны был неоднократно ранен. С начала революционных событий был одним из революционных руководителей в полку, член полкового комитета. На митингах его пути пересекались с Л. Кагановичем, но тот был представителем большевиков, а папа — эсеров. Один старый еврей сказал тогда папе, что "Это не наш путь", но дошло это до папы лишь много позже. Когда образовалось государство Израиль, мы не имели понятия, что представляют собой израильские евреи в труде и в боях. Но во время одной длительной командировки я познакомился с одним прибалтийским евреем, имевшим в Израиле родственников, связь с ними, и очень много узнал. В Москве мы с папой вышли на улицу, и я пару часов ему все рассказывал, а он напряженно слушал... Теперь я нашел в своих архивах папин Иерит-русский словарь на 10000 слов с надписью: "Посвящая сей двухлетний труд 1956-1958 г. моему внуку Борису"»...

Вот такое письмо я получил от Саши. А о каком словаре он упоминает? Вот тут я подхожу к самой удивительной истории; к истории, в которую я бы, наверно, никому полностью не поверил, если бы это не произошло с моим папой.

Я уже говорил о том, как относились к нему окружающие его люди и приятели, и мы — его сыновья и внуки, и наши дру-

зья. Папа хорошо понимал это и ценил такое отношение к себе, но его мучила одна мысль: вот его воспринимают, как много знающего и мудрого человека, а он не знает иврита, ни одного слова не помнит. А ведь когда-то, лет пятьдесят назад, папа прекрасно его знал! Действительно, как и все еврейские мальчики того времени он учился в хедере, потом в Йешиве (в ешиботе, как говорили на Украине). И, по-видимому, он был способным мальчиком. Я сужу об этом по тому, что мне дедушка рассказал, как однажды к нему, простому плотнику, пришел большой киевский рав и сказал: – Моше, если твой Шломо будет дальше учиться, то из него большой человек получится! Ну, сколько он еще мог учиться, наверно не больше, чем лет до тринадцати-четырнадцати, а там надо было идти работать, помогать отцу кормить большую семью. А дальше – годы работы, война, революция, Гражданская война, потом переезд в Москву. И, конечно, все эти многие годы вряд ли он встречался с ивритом. Идиш – это да, это разговорный язык. Да и то, в мои детские годы, помню, родители перебрасывались парой слов на идиш когда хотели, чтобы мы, дети, не поняли.

Папу эта мысль ужасно мучила, как же так: – ведь хорошо знал, когда-то, и вот – все забыто, ни одного слова...

Что произошло потом, я опишу со слов мамы. Однажды ночью она проснулась от того, что папа сидит рядом, и весь дрожит так, что вся кровать ходуном ходит, и хочет сказать что-то, но не может. А потом:

- Ася, мне сон приснился...
- Да что ты, когда ты мне свои сны рассказывал...
- Мне приснилось...мне приснилось...
- Да что тебе приснилось, наконец?
- Мне приснилось, ...что я вспомнил язык!
- Ну, старый, совсем с ума сошел. Ложись, спи.

А папа посидел минуту, а потом взялся руками за голову, и вдруг совершенно спокойным голосом сказал:

- Асенька, а ведь я, в самом деле, вспомнил иврит!

Папа оделся, сел за стол, включил настольную лампу, приготовил бумагу и ручку, и... и начал писать слова. Из него пошел иврит!!!

Папа сутками не вставал из-за стола. Мама туда же и кушать подавала ему, там же он и спал урывками, положив руки и голову на стол, и только один-два раза в неделю ложился на кровать на несколько часов. Он целый год ни разу не выходил на улицу, хотя до этого ежедневно гулял по два-три часа. Он писал и писал слова. Мама всерьез начала бояться за его здоровье, то есть за его голову. Выросла громадная кипа бумаги, исписанной многими тысячами слов. А что дальше? И папа начал систематизировать их по алфавиту: по первой букве, по второй... И получился словарь на десять тысяч слов, о котором упоминалось выше. Но папа почувствовал, что он не иссяк, что есть еще громадный запас слов. И, в результате еще трехлетней работы, появился Иврит-русский словарь на двадцать тысяч слов.

Работу папа закончил, не имея никаких пособий: ни учебников, ни словарей. Ничего! И только через несколько месяцев я купил, после многодневной очереди, только что вышедший из печати знаменитый Словарь Шапиро.

Смотрели Словарь в Москве многие специалисты: смотрел академик Михаил Иванович Коростовцев, один из крупнейших мировых египтологов, наш близкий друг. В числе прочих, известных ему языков, был и иврит. Он был начальником Отдела древнего востока в Институте востоковедения Академии Наук, и там тоже смотрели. А там есть знающие мужи! Ну, а уж здесь, в Иерусалиме, и говорить нечего: и равы смотрели, и ученые из Института иврита, и просто знающие люди. И все говорили примерно одно и то же: – Живой язык Танаха!

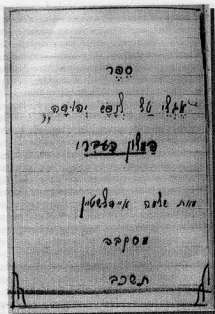
Как это все понимать – не представляю себе. Какая-то фантастическая история! Я читал когда-то, что один из известных математиков во сне нашел решение какой-то очень сложной теоремы, над которой он бился долгое время. Да и Менделееву его знаменитая таблица пришла во сне. Но тут во сне

произошло как в компьютере: щелк, и открылся колоссальный объем памяти!

Но есть у этой всей истории и другая сторона: теперь Нина моя כל ה'י' כל ה'י' (для неграмотных москвичей и иже с ними – каждый день, весь день) пилит меня: – вот, такой папа, а ты до сих пор не можешь осилить иврит! Позор!!!! А я только моргаю глазами, и отмахиваюсь от нее. Но – бесполезно.

А какая же судьба самого словаря? А ни какая, стоит у меня на книжной полке, как и стоял. Никому он оказался здесь не нужен. Сначала это меня очень разочаровало, даже как-то обидело. А потом я подумал: а что я, собственно, хочу? В Музее диаспоры, где я рассказал об этой истории, меня попросили прислать копии нескольких страниц, а потом, через некоторое время, спросили по телефону: за сколько я хотел бы словарь продать? Эта тема развития не получила, так как продавать я его не собирался. Мы с Ромой как-то, еще в Москве, размечтались: отдадим словарь в Израиле в музей, будет он лежать там в экспозиции, рядом краткая история его создания, шпина (дедушкина) фотография. В каком-то музее, я уж точно не помню, согласились взять, но не в экспозицию, а в запасник, это уж совсем глупость, лучше пусть дома лежит. Об издании речь вообще не идет, так как для практического использования он, конечно, не пригоден, да и не для того папа его создавал. Чего же я хочу? По правде говоря – сам не знаю. Просто хочется, чтобы люди знали об этой невероятной истории. В девяносто первом году я рассказывал о папе по радио «Кол Израэль». Саша (мой брат) слушал ее в Москве. Через несколько лет была статья об этом у нас в газете. Пока – все.

Собрались мы выезжать в Израиль. Собственно – собрался Роман с семьей, он уже получил разрешение, а я только подготовил документы, и ждал его отъезда. Дело в том, что меня предупредили старые отказники о том, что мне-то наверняка первый раз откажут из за моих «допусков», но из за этого и сын может стать отказником. А это, конечно, очень даже не-



Титульный лист рукописного
Еврейско-русского словаря
Соломона Моисеевича Эдельштейн
1003 стр., 20000 тыс. слов

желательно. И стал вопрос: как вывезти папин словарь? Я позвонил в израильское консульство (оно помещалось в голландское посольстве, где-то около Арбатской площади, на Поварской, которую тогда обзывали именем какого-то Воробского) и сказал, что мне бы очень хотелось иметь какой-нибудь учебник иврита. Оказалось, что я разговаривал с одним из семи работников консульства. Он спросил, где я нахожусь (а я был где-то рядом), и просил подождать. Встретились. Он вручил мне сверток, там был самоучитель иврита, словарь, книжка об Израиле и карта Израиля. Как я потом узнал, это был стандартный набор для таких случаев. Начал я рассказывать о своей проблеме; он заинтересовался, и говорит: давайте пройдем к нам, и там вы нам расскажете все подробно. Сознаюсь, мне было немножко не по себе, но – взялся за гуж... Там зашли в какую-то небольшую уютную комнату, пришел еще один сотрудник, и я им рассказал все о папе и словаре и показал его. Они с интересом просмотрели словарь и сказали, что его обязательно надо вывезти в Израиль; пусть сын попробует сдать его в багаж, а если не получится, то они отправят его через свои каналы. Роман вывез его сам, на таможне и внимания на него не обратили. Правда спросили: – А это что такое?

– Да так, дедушка когда-то что-то писал.

– Ну, и ладно.

Я вот сейчас подумал, как это я так смело позвонил в консульство, а потом и пошел туда, да еще и мимо милиционера у входа, подозрительно посмотревшего на меня? Ведь мы, представители особой части «гомо сапиенс» – советские люди, хорошо знали, что можно, а что ну – низ-э-з-я! Это потом, после подачи документов, мы свободно туда ходили. А тогда ведь я еще официально не заявил о своем желании уехать. Я думаю, объяснение этой моей смелости заключается в том, что после того, как мы твердо решили ехать и уже подготовили все документы для ОВИРа, наступила какая-то такая внутренняя свобода, я был уже не тот, каким я был до этого. Во

всяком случае – другого объяснения у меня нет.

В связи с этим я хочу рассказать об одном эпизоде, воспоминание о котором мне и сейчас доставляет удовольствие.

Это было во время шмона в таможне. Я прошу прощения за это словечко из «лагерного» жаргона, но, мне кажется, среди отъезжантов эту процедуру таможенного досмотра каждой книжки, каждого носка, каждой детской игрушки, иначе никогда и не называли. Поэтому я и пишу это слово даже и без кавычек. А и действительно – какая разница между обыском в камере, или в таможне? Шмон – есть шмон.

И вот отошел я в сторону покурить. Рядом стоит с сигаретой какой-то толстомордый подполковник. Рядом стоит с соседним столом, там были командировочные. Своим опытным глазом я сразу определил, что это, несмотря на голубые погоны, не летчик, а то ли интендант, то ли из замполитовской шатни, в общем – ЧМО какой-то. Я не знаю, что это за слово такое, но мы, молодые офицеры, пренебрежительно их так называли.

Так вот стоим мы рядышком, курим. А потом он вдруг говорит:

– Да-а-а, уезжают евреи!

А я – в том-же духе:

– Да-а-а, уезжают евреи.

– Бегут из матушки России!

– Да, бегут евреи из России.

– Нет, чтобы Родине послужить, а они бегут из России!

И тут я ему говорю, во весь голос, во всеуслышание:

– Вот я провел в кабине самолета тридцать восемь лет, половину из них – в кабине боевого самолета. Ты понял, г...о собачье, кто из нас больше Родине послужил?! И пока он еще не пришел в себя, я еще раз ему повторил:

– Так ты понял, собачье ты г...о, кто из нас больше послужил Родине?!?!

Надо было его видеть в этот момент! Он чуть сигарету свою не проглотил! Морда его пошла цветами побежалости. И я совершенно четко представил себе его мысли в этот момент:

— Что делать? Шум поднять, а вдруг из-за этого загранично-командировку зарубят, а там валюта, шмотки, баба дома голову оторвет! Да и с чего этот тип такой смелый, может это свой человек?

Несколько секунд он постоял; я боялся, что из морды его кровь брызнет, резко повернулся, и ушел. Больше я его не видел. А двое упаковщиков, здоровые примерно пятидесятилетние мужики, они мои вещи в ящики упаковывали, ржут:

— Ну, ты дал ему, молодец!

А потом они мне говорят: (тут я плавно перетекаю уже в другую историю, которая произошла там же. Она, правда, не имеет никакого отношения к нашей основной теме, но не рассказать ее просто невозможно, как вы сами увидите)

— Первый раз мы такого чудака видим: тут, при досмотре, мужики шибко нервничают, валидол, нитроглицерин глотают, ругаются, а ты ходишь покуливаешь, анекдоты нам травишь! Ну, я им объяснил, что еще несколько дней назад мы с женой были уверены, что наша очередь на шмон не подойдет до вылета, и решили все бросить, и лететь с чемоданами, тем более что сами, мол, видите: старая мебель, старое барахло, ничего нового и дорогого. А если сдать билеты, то это задержка месяцев на пять-шесть. Поэтому, если какую-то вещь нельзя брать, или что-то там хрустнуло при упаковке, то меня это как-то мало трогает. Но, говорю, есть одна вещь, за которую я буду драться. Вон в той коробке лежит. Доходит очередь до этой коробки. Открываю ее. Таможенник, молодой парень, достает оленьи рога: нельзя, говорит, предметы из кости нельзя; достает моржовый клык — тоже нельзя — кость. Жалко, но что поделаешь. А потом он достает еще одну кость, длиной сантиметров шестьдесят, тоже в сторону откладывает. Э нет, говорю, за эту вещь я буду воевать. Ты знаешь, что это такое? Объяснил ему популярно, он с интересом выслушал, но стоит на своем: кость и все, нельзя.

И тут я громко, на весь зал (почему не повеселить народ) говорю ему:

— Вот смотри, Коля, вот у меня вырезка из газеты «Труд», а ее три месяца хранил. Тут написано, что по новому закону, если в таможене какую-то вещь не разрешают провозить, то по моему требованию мне должны показать инструкцию, где это написано. Так вот, покажи мне инструкцию, где написано, что нельзя провозить моржовые члены! Весь зал замер, Коля мой тоже в растерянности. Иди, говорю, вон в комнату к начальству, и пусть мне представят документ, как по закону положено. Взял он эту штуку и ушел.

Минут через десять идет обратно, улыбается: — Бутылку коньяка, говорит, выиграл! Ну, что, спрашиваю, будем делать?

— Кладите в ящик.

Общий смех! Вот так я сохранил хороший арктический сувенир.

Далеко мы уехали; пора возвращаться назад, к папе.

Все последние свои годы папа жил Израилем, только Израилем. Он на своем приемнике ухитрился проникать сквозь все московские глушилки, и не пропускал ни одной передачи «Голоса Израиля» и всех других «вражеских голосов»; он знал все, что происходит в Израиле, и все, что имеет хоть какое-то отношение к Израилю.

Когда я, возвращаясь из своих командировок, приезжал к папе, то сначала папа, заглядывая в свою книжечку, рассказывал мне обо всем, что произошло за время моего отсутствия в Израиле, а уж потом были все остальные разговоры.

И много раз папа говорил нам: — Придет время, и вы там обязательно будете, вы все там обязательно будете!

И при всем нашем уважении к папе и к каждому его слову, мы с Ниной ему отвечали: — Ну, папа, это уж ты...!

Ведь это были еще шестидесятые годы! Где мы, и где Израиль?! А он нас убеждал: — Не будет у них, сволочей, другого выхода, всех они должны будут выпустить!

И еще он говорил: — А этот Вавилон рухнет, он обязательно должен рухнуть!

нился перед ними, и оформил новенькую, Светлану Портняжскую. И сейчас она выступит перед вами!

На сцену вышла молодая красавица и запела. Каждая ее песня встречалась бурными овациями. А потом она помолчала, лицо ее сделалось серьезным; вступил оркестр, и Светлана своим прекрасным голосом запела «Золотой Иерусалим»!!! Вот тут только я понял, как папа был прав!

И до сегодняшнего дня эта песня для меня самая, самая..., как была для папы.

Но этот вечер готовил мне еще один подарок, как говорится – не было ни гроша... Мы приехали домой, уже поздно ночью, включили телевизор, а там документальный фильм про Иерусалим! Многие должны помнить эти четыре документальных фильма об Израиле в 1989 году, сделанные советским режиссером, но с прекрасным заэкраным текстом. Один – о кибуцах, один – об израильской армии, об Иерусалиме, и четвертый – не помню о чем.

И вот шел как раз фильм об Иерусалиме. Хорошо помню сцены штурма города и голос диктора: – При штурме Иерусалима не была разрушена, или повреждена ни одна мечеть! Как не вспомнить тут этих зверюг в Гуш Кативе! Но самое главное для меня в тот момент было то, что последние кадры об освобождении Иерусалима сопровождались той же песней, прекрасной песней – «Ирушалаим шель захав» – Мой золотой Иерусалим!

Кожаные куртки

*И жить еще надежде
До той поры, пока
Атланты небо держат
На каменных руках*

Это было в день 6 ноября 90-го года последнего века прошлого тысячелетия. Я правильно сказал? Как странно: это действительно было не только в прошлом веке, но и в прошлом тысячелетии! Ну, и ну!! Что для нас века, мы и тысячелетия меняем!

Почему мне так запомнилась эта дата, – это будет понятно из дальнейшего рассказа. Но сейчас я хочу вспомнить еще об одном событии, связанным с этим днем, днем 6 ноября. Правда, это было очень давно – ровно за сорок лет до того дня, о котором я начал рассказывать. Это был день окончания Школы морских летчиков, а если говорить о полном названии, то – Военно-Морского Минно-Торпедного авиационного училища в городе Николаеве. Что такое проучиться более четырех лет в военном училище, т.е. вставать и ложиться по команде дежурного, шагать и запевать по команде старшины, выходить в город только в определенные дни, только на определенное время, и только с увольнительной запиской в кармане, и потом превратиться из рядового матроса (солдата) в офицера, это может в полной мере понять только тот, кто сам через это прошел.

Только не подумайте, что я жалею о жизни в эти куршанские годы. Нет, это были счастливые годы: мы, молодые ребята, изучали самолеты, авионавигацию (т.е. – штурманское дело), теорию полета, мы учились летать! Мы считали себя самыми счастливыми на свете! Я только хотел сказать, что разница в положении матроса и офицера такая большая, что переход из одного положения в другое, как правило, забываем. Тем более, что у нас это происходило настолько

необычно, что, я думаю это был вообще какой-то уникальный случай в истории военных училищ.

А необычным было то, что утром этого дня, когда мы вернулись из столовой после завтрака и собирались идти сдавать последний выпускной экзамен, молнией разнеслась весть о том, что Министром Обороны уже подписан Приказ об окончании нами училища и присвоении каждому из нас звания – лейтенант.

Ну, и что было дальше? А ничего, мы отправились сдавать последние государственные выпускные экзамены. Представьте, какая была дурацкая ситуация? Мы брали билеты, готовились к ответу, преподаватели, члены приемной комиссии с серьезным видом нас слушали, ставили оценки в свои ведомости, в общем – все играли свои роли. Почему так получилось, на это была своя причина, я более подробно писал об этом в одном из очерков, не буду повторяться.

Через час после окончания экзаменов в торжественной обстановке получив из рук генерала, начальника училища, пару золотых погон, офицерское Удостоверение личности и морской кортик, мы стремглав бросились в кубрики, сбросили с себя матросскую одежду, одели форму морского офицера, фуражку с «краном» вместо бескозырки с ленточкой, и всей толпой отправились в город, где в ресторанах на центральной улице Николаева, Советской, нас уже ждали. И страшный для нас, еще вчера, комендант города отдаст приказ своим зверовидным помощникам: – Молодых офицеров не задерживать, сегодня их день!

Разве это можно забыть?! Я сейчас, отдавшись воспоминаниям, переживаю события этого дня, как будто это было только вчера, а не пятьдесят три года назад!

...Однако пора вернуться в наше время, в год девяностый.

Итак, 6 ноября мы с Ниной пошли на концерт какого-то прилетевшего из Москвы известного барда, Александра Городницкого. Тогда мне эта фамилия ни о чем не говорила. Это потом он стал для меня поэтом уровня Высоцкого. В самом

деле: сколько случаев мы знаем, когда человек, написавший одну-две хорошие, песни, становился «известным поэтом»! Но кто после Высоцкого, из бардов, то есть – из авторов и исполнителей своих песен, может сравниться с Александром Городницким по количеству очень известных и любимых песен? Одна только песня «Атланты» заслуживает того, чтобы ее автор вошел в число лучших поэтов-песенников! А он еще и изумительный исполнитель ее, как и всех других своих песен, хотя из скромности, по-видимому, он всегда подчеркивает, что он не исполнитель.

«Атланты» он заканчивает все свои концерты и, как правило, эту песню весь зал слушает стоя!

Ну, ладно, это все я потом узнал и понял, побывав на его концертах, увидев его по телевизору, услышав по радио, купив аудио и видео-кассет. А тогда я пошел на тот концерт с небольшой охотой. Нина меня убедила тем, что это отец Володи Городницкого, нашего соседа и хорошего знакомого.

Пришли, уселся где-то на третьем ряду.

На сцену вышел очень симпатичный худощавый человек. Манера исполнения его мне очень понравилась, да и песни мне показались знакомыми, но я их слышал, мне казалось, в исполнении Визбора.

А потом он говорит: – А сейчас я спою вам одну старую песню. Это старая, простенькая песня, но у меня с ней связаны дорогие мне воспоминания... Это песня полярных летчиков «Кожаные куртки».

Я подскокил на своем кресле, мы с Ниной переглянулись и я, после окончания песни, неожиданно для самого себя встал, «просочился» между сидящими зрителями (до сих пор не могу понять, как это я вдруг решился на такое) и по боковой лестнице забежал на сцену. Я подошел к Городницкому, обнял его: – Саша, спасибо тебе, я думал, что это песня Визбора, а это твоя! Это же наша песня, мы все ее знаем и любим!

Он дико на меня посмотрел, подошел к микрофону (мы

оказались немного в стороне, а я был вообще спиной к нему) и ошеломленно промолвил: – Не думал, что и в Иерусалиме могут быть полярные летчики!

Этот эпизод произошел именно так, как я сейчас это рассказывал.

После окончания концерта мы с Ниной подошли к нему, познакомились и пригласили к себе на мое шестидесятилетие через два дня, девятого ноября. Теперь понятно, почему я так уверенно начал свой рассказ с конкретной даты?

Тут мы уже познакомились поближе. Оказалось, что у нас много общего, так как в одни и те же годы мы оба работали на Таймуре: он – геологом, а я на своей «Аннушке», обслуживал геологические группы по всему Таймыру. И хотя наши дороги тогда не пересеклись (а может быть и пересекались, но мы этого не заметили), но у нас оказалось много общих знакомых, знакомые места, в общем – было о чем поговорить, что вспомнить... К тому времени он был уже доктор наук, профессор, членкор, а сейчас, кажется, уже – академик...

На этом вечере произошел смешной случай. Дело в том, что незадолго до этого мое многолетнее хобби превратилось в мою профессию: я начал работать переплетчиком в одной из университетских библиотек. И помогла мне в этом Фаня Розенштрот, ватичка, много лет работавшая в этой библиотеке. С тех пор, и уже много лет, она стала нашей доброй приятельницей. А тогда, при переговорах с заведующей, все разговоры шли через нее, так как Мирьям не знала русский, а я и сейчас то..., а уж тогда то и вообще... Да, и вот Фаня вдруг неожиданно говорит, обращаясь ко всему обществу и показывая на меня пальчиком:

– Я вам сейчас расскажу про этого идиота. Пришел устраиваться на работу. Мирьям его спрашивает, – где он работал, и этот идиот, посмотрите на него, начинает лепетать, что он вообще-то не переплетчик, а летчик, а переплетное дело – это было его многолетнее увлечение, хобби, так сказать. Я его слушала, понимающе кивала головой. Но знал

бы он как я его «переводила», какие я типографии выдумывала, где он работал в Москве!! Вплоть до типографий газеты «Правда» и ЦК КПСС!

Я, через некоторое время рассказал Мирьям, что переплетное дело действительно было только моим увлечением, а профессия у меня была совсем другая. Она рассмеялась, и сказала, что все это давно знает.

...Прошел год. И опять приехал Городницкий, и опять концерт в том же зале. Но приехал уже совершенно другой человек. Я не буду ничего выдумывать, да и что можно сказать лучше, чем сказал о нем Игорь Губерман, представлявший его перед началом концерта, да и сам он о себе. Игорь Губерман сказал так: – Он здесь уже второй раз, и вот здесь в нем проснулся еврей. В нем проснулась вторая натура. В нем проснулся второй человек, вы об этом услышите совершенно замечательные стихи и песни.

А сам Городницкий сказал перед началом того же концерта такие слова: – Я очень счастлив, что я опять попал сюда... У меня совершенно другие ощущения, как, знаете, у того мальчика, у того нищего мальчика, к тому же изуродованного, который вдруг узнал, что он – пэр Англии, что он из очень знатного рода. Я открыл свою родину и свой великий народ в прошлый приезд. Я теперь приехал сюда как домой!

Ну, и еще: я не могу, в заключение этой темы, не привести тут целиком одно небольшое стихотворение, прочитанное Сашей в этот вечер. Вы увидите, – оно стоит того.

В автобусе.

Спит солдат по соседству – ни выправки нету, ни стати,
Замусолена куртка, прикрыла затылок кипа.

Не увидишь такого, пожалуй, у нас и в стройбате.

Спит усталый солдат, и судьба его дремлет, слепа.

Кто сегодня предскажет, что может назавтра случиться

С этим мальчиком, что так на бойца не похож?

Может, будущей ночью воткнется ему под ключицу Мусульманский кривой, для убийства наточенный нож? Тонкошей, небритый, с загаром спаленной кожей, Автоматный ремень в полудетском его кулаке. Я не знаю иврита, он русского тоже, и все же Как нетрудно мне с ним говорить на одном языке! Почему так легко понимать мне его? Потому ли, Что в тылу он не будет искать безопасных путей? Что меня не сразит центробежною смертною пулей? Что сапериной лопаткой моих не порубит детей? Мчит автобус ночной по дороге меж горных селений, И во сне улыбаясь звезды за оконной лучу, Спит солдат на сиденьи, усталые сдвинув колени, Автомат, словно скрипку, прижав подбородком к плечу.

Начался концерт, как обычно – с прекрасной песни «Снегопад», после которой я вдруг слышу: – Теперь я хочу исполнить одну старую песню, ретро, это песня полярных летчиков «Кожанные куртки». С этой песней у меня связаны интересные воспоминания о человеке, которому посвящена эта песня, об одном летчике. Эта история описана в моей книге. В книге не описано другое: в прошлый раз, когда я спел эту песню в этом зале, после концерта ко мне подошел пожилой человек, вытирая глаза: – Я не знал, что это Ваша песня... я двадцать лет летал в Арктике... Я, вот, здесь, я вот теперь на пенсии... Но Вы поймите, Вы мне вернули молодость... Меня здесь никто не понимает. Ну кому в Израиле нужна Полярная Авиация!?

Прошло еще два года. Очередной приезд и концерт Городничкого. Мы с Ниной, конечно, в зале: ну, как же не пойти на моего любимого Городничкого, все песни которого я уже знаю наизусть, все концерты которого у меня записаны. В каждой песне, как мне кажется, ни одного слова не прибавить, ни убавить. Опять-таки здесь у меня напрашивается сравнение с песнями Высоцкого.

Концерт начался, как обычно, прекрасными песнями, сти-

хами, а потом я слышу: – Перед тем, как исполнить очередную свою песню, а это будет Песня полярных летчиков, я не могу удержаться, чтобы не рассказать вам как после первого моего концерта в Иерусалиме, в этом же зале, четыре года назад, ко мне подошел **пожилой человек в морском кителе с многочисленными орденскими планками на груди...** Ну и потом он, т.е. – я, что-то еще очень трогательное говорил, я уж не помню – что.

На другой день я водил Сашу много часов по старому Иерусалиму. – Саша, ну ты дал вчера!

– Что, ты про китель наверно? Ну, извини, больше не буду.

– Да что ты! Этот случай, когда я вылез на сцену, это такой выигрышный эпизод, да еще и не выдуманный, его просто нельзя не вспомнить. Ну, а что каждый раз что-то чуть-чуть новое говоришь, так это тоже – естественно.

Я не стал бы рассказывать об этой нашей прогулке, если бы не один небольшой разговор. Я забыл сказать, что это был 1995 год. Я спросил Сашу, что он думает о состоянии российской науки. И ответ получил, на мой взгляд, страшный. Я помню его почти дословно.

Я думаю, Марк, что положение катастрофическое и, практически, беспросветное. Ситуация примерно такая: двадцать пять процентов ученых, наиболее молодые, активные и талантливые, уехали сюда – в Израиль, в Америку, в Канаду... Двадцать пять процентов молодых и способных ребят – ушли в бизнес. Четверть – наименее активные и талантливые, сидят в своих лабораториях и пытаются что-то сделать. Ну, и двадцать пять процентов таких старых грибов, как я. Мы еще что-то, может быть, и можем сделать, но мы уже на выходе. Вот такая, Марк, безрадостная картина.

Я попросил Нину прочитать написанное, и когда она дошла до слов – **уровня Высоцкого**, сказала: – Марк, не надо сравнений! Но мы, как это часто бывает, не слушаем наших мудрых жен, а жаль. А потом и мне стало казаться, что я

сделал довольно сомнительный комплимент, и при случае я очень хочу извиниться за него. Но ради Бога!.. Высоцкий как был, так и остался для меня самым, самым, ...классиком! Я просто хочу сказать, что вот если бы Городницкий в то время, (я они начинали примерно одновременно) занимался бы не наукой, не шатался бы по Таймыру в поисках урана, не лез бы в батискафе на дно океана (только там еще нашего брата, еврея, не хватало, везде пролезли!), а так же, как Высоцкий пел бы свои великолепные песни, вот тогда можно было бы говорить об уровне, сравнивать... Кажется я опять залез не в свою область, не в свой мир, опять могу запутаться, что-нибудь не то ляпнуть. Я надеюсь – понятно, что я хотел сказать. В поэзии я, конечно, профан, пусть так, но для меня – лучший современный поэт – Александр Моисеевич Городницкий, я с большим удовольствием читаю книги его стихов, и с восторгом слушаю кассеты с его песнями.

Ну, все. Возвращаемся назад, в год – не помню какой, но – в день очередного прилета Городницкого в Иерусалим. Да не один прилетел, а с Юлием Кимом: можно с Юликом привет передать нашим общим знакомым.

Пришли вчетвером: я, Рома, и две Нины. Сидим на последнем ряду, под потолком. Первое отделение – Кима, второе – Городницкого. И когда он дошел до моей любимой песни, вспомнив, конечно, эту историю, я услышал что-то о кителе, слезах, и подняв руку, помахал ею.

– А, Марк, ты здесь, здравствуй. Спасибо, что пришел!

– Китиль я уже в музей сдал!

Вот так, обменялись репликами, и концерт продолжился. А у меня осталось нехорошее чувство: нельзя отвлекать внимание артиста, когда он на сцене, а я своим маханием...

Пока, именно пока, с концертами покончено. Но вот, примерно год назад, я купил диск с концертом Городницкого «Система Декарта», этот концерт был в Самаре в 1999 году. Провалился он у меня год где-то в шкафу, так как не на чем

было прослушать. А потом появился компьютер, засунул я туда диск, включил, и, как всегда, получил громадное удовольствие, слушая его песни и стихи. А когда речь зашла о Песне полярных летчиков, я услышал еще один, пожалуй самый интересный вариант своего поведения в этой ситуации:

... – Вот я теперь здесь, ...я полярный летчик,...но меня здесь никто не понимает, у меня тут есть бутылочка, пойдём выпьем, здесь ведь не с кем...

У этого рассказа нет окончания. Я надеюсь, что Александр Моисеевич Городницкий еще много, много лет будет радовать нас своими прекрасными песнями, а на концерте, перед исполнением Песни полярных летчиков, как не вспомнить об этом смешном, и немножко трогательном эпизоде во время его первого концерта в нашем прекрасном городе Иерусалиме

Так что продолжение следует...

Лежу я в больнице

*Лежу я в больнице, плюю в потолок,
А доктор на блюде.....
(далее — весьма неприлично).*

Из весны моей хулиганской юности.

И, тем не менее: — лежу я в больнице, плюю в потолок...

И с ногой, задранной туда же, к потолку.

Да, и вот обладая уже, как мне кажется, солидными знаниями, большой информацией об израильских больницах, хочу рассказать о них, об израильских больницах.

Почему это я не врач, не медик, и вообще человек, никогда не думавший об этом, вдруг собрался писать на подобную тему?

За шестьдесят лет мне не раз приходилось бывать в больницах, и самых разных, но это там, в том мире, и есть с чем сравнивать то, что я здесь вижу. А видел здесь я уже достаточно много.

Ну вот, например, после серьезной операции на сердце — здесь выписывают на шестой или седьмой день, а после родов — на третий. И это не за счет здоровья, а за счет лечения! А я весной пролежал после операции в больнице (где и сейчас нахожусь) целых двадцать дней, вернее — три до операции и семнадцать — после. Это достаточно много по израильским масштабам, чтобы подумать, сравнить, оценить. Кроме того, мне пришлось еще несколько дней провести в разных больницах, несколько раз — в «Могендавид адом». Вот написал, а теперь надо объяснить, что это такое. Могендавид, это цит Давида, шестиконечная звезда, символ Израиля, а адом — красный (красный крест, красный полумесяц). Короче — скорая помощь.

Был в приемном покое больницы один раз четыре часа. И вот теперь лежу третий день в приемном покое большой городской больницы. Я понимаю чувство возмущения, справедливого возмущения москвича после прочтения вот этих пос-

ледних слов! Продержать больного человека в приемном отделении могут только эти проклятые сионисты, и правы Бен-Ладен, Хамас, КПСС и Жириновский с этим, как его... рабочим депутатом!!! Давить их надо! Ну вот, вы поняли, что изнутри мне увидеть в этих учреждениях довелось много. И очень захотелось рассказать об этом, тем более, что читать на эту тему мне не пришлось, а тема весьма интересная. А для вас, москвичей — особенно. Вот какое большое вступление!

Ну, с чего начинать? Вот сразу с приемного отделения и начнем. Вот в московской большой 67-й больнице приемное отделение. Явился больной с направлением, или без оного, с травмой, ну — и т.д. Сидит дежурный врач. Он осмотрел, если надо — сестра сделала укол. Если надо — пришел специалист — посмотрел. Потом регистратура и — в отделение. Все. Функции приемного отделения на этом закончены. Галя! Ты помнишь эту сволочь — дежурного хирурга приемного отделения 67-й больницы — Садосьеву?!

Здесь большая (одна из четырех таких в Иерусалиме) городская больница. Она ну, скажем, не меньше, а возможно и больше 67-й Московской, но размещена в одном огромном здании. Приемное отделение — громадное, самое большое, я думаю. Вдоль всех стен идут небольшие ниши, как маленькие комнатки на две кровати, точнее — на две каталки, в которых можно сделать все: пациента поднять, опустить, поднять ноги, голову, спину, наклонить в любую сторону, с двух сторон подъемные бортики. Само собой — матрас, подушка, простыни. Каждое место может закрываться плотными занавесками, как отдельная комната. Кстати — эта система с занавесками — в каждой палате всех больниц.

Врачи сестры, санитарки сидят, их много.

Указывают на свободное место, кладут на каталку, ставят капельницу, если надо (как правило, всем нужны лекарства, а прямо в кровь — более эффективно) и начинается обследование. Кровь, там, и прочее — это я уж не говорю, настоящее

серьезное обследование, включая рентген, ультразвук, компьютерную томографию и все, что только существует в больнице, а здесь есть все, что существует в мировой медицине.

На все обследования везут в своей каталке, и в ней же, полностью закончив все обследования, И ТОЧНО ПОСТАВИВ ДИАГНОЗ, везут в отделение на лечение, зачастую определенное в том же приемном отделении. У меня получилась прямо ода приемному отделению! Но это только начало.

Москва. Два раза меня на «скорой» привозят с почечными коликами, — камень зашелся! Боль жуткая. Поднимают в урологию. Рентген подтверждает: камушек. Начинают лечить. Таблетки, капли, грязь на бок, электрическая встряска (интересная штука!), горячая ванна, все по второму-третьему кругу. Проходит неделя, все безрезультатно, назначают дробление. А накануне операции ночью я торжественно несу банку: смотрите — вышел сам! Оба раза — точная копия, только второй раз это было 31 декабря, так что Новый Год я встречал дома.

Иерусалим 1991 г. Точнее — поселение Гивон Хадаша. Те самые территории, оккупированные израильской военщиной, ибо, как известно еще от Галича:

Израильская военщина известна всему свету,

Как мать говорю, и как женщина — требую их к ответу!

Нет, я не могу удержаться, чтобы наглядно не объяснить вам разницу между двумя понятиями: читать в книгах и учебниках об истории, и жить в этой самой истории. Гивон Хадаша — Новый Гивон (хадаш — новый). А теперь берем в руки Танах (Библию): примерно две с половиной тысячи лет назад пришли евреи в «Землю обетованную» и началась там война с зловердными филистимлянами. И вот во время решительной битвы, когда евреи уже побеждали наступил вечер, а в темноте драться не умели, и победа ускользала из рук. И вот тогда Иисус Навин (Иегошуа бен Нун), предводитель евреев после смерти Моисея, остановил Солнце словами: — остано-

вься Солнце над Гивоном, а Луна — над долиной Аялонской!

Гивон, это был большой город, имевший важное значение. Достаточно сказать, что именно там хранилась Скиния завета до того, как Соломон построил Храм. Сейчас это холм, половину которого занимает арабская деревня. Кто имел счастье побывать на нашем балконе, видел его в двух километрах от нас. И долина Аялонская здесь же в нескольких километрах. А мы — Новый Гивон.

Ну, вот — страшная колика, лезу на стену, потом — слез со стены, и полез в машину, Рома везет в больницу. Ну, в приемное, каталка, обезболивающий укол и капельница. А там что-то расширяющее, за три с половиной часа 4-5 раз меняли большие баллоны. Потом поехали на ультразвук. Там повертели, покрутили: — Гуляй, милый, ты чистый, как огурчик!

Ну вот, теперь пришли к нынешней ситуации: третий день — в приемном отделении. Что-то стало нехорошо, вернее очень плохо: невероятная слабость, температура, (слушайте — двое суток ничего в рот не брал, это же катастрофа: похудеть могу!!!). Но ничего не болит, и лишь чисто случайно заметил сильное покраснение левой ноги ниже колена. Поехал в больницу, в приемное. Посмотрели, говорят — инфекция, нужен курс антибиотиков, три дня. Ну и зачем поднимать в отделение, занимать место? Кроме каталок в нишах, о которых я писал, здесь есть и несколько обычных палат с обычной больничной обстановкой: обходами, врачами, сестрами, питанием, только все это в приемном отделении. Вот и лежу с задранной вверх ногой, подключенный к капельнице. Вот, кажется, о приемном отделении — все.

Вчера вечером у меня были вместе Нина, Рома, Илюша и Ионик. Захотели и приехали, не глядя на время, сидят около моей кровати. И около соседней кровати двое мужчин. И все — без халатов! Эти евреи совсем совсем расслабились! Совершенно забыли о культуре, о микробах, о асептике-антисептике, о часах приема. Прут в любое время, в любой одежде, а около

тяжелых — и ночами сидят. И никто их не гонит.

Когда Нина сидела около меня после операции, ее не спрашивали, а просто приносили обед как и мне, и не слушали никаких ее отказов:

— Кушайте, пожалуйста!

Когда Ионька родился, мы все на другой день поехали. Можно к роженице, она вчера родила? Как фамилия? Вон в той палате. Палата двухместная, обе вчера родили. У одной сидят, и мы все заявили. И все без халатов! А потом несмело так, практически ни на что не надеясь:

— А внучонка можно посмотреть?

— А вон там детская, пожалуйста!

Заходим, а их там штук десять, малышей, от одного, до пяти дней. Все лежат на животиках, никаких пеленок, на ручки опираются, пытаются приподняться, головки задирают. А МЫ БЕЗ ХАЛАТОВ БЕЛЫХ!!!! Объясняйте это как хотите, но практически нет этой страшной инфекции, забыл, как она называется, бич роддомов, практически нет осложнений у детей и послеродовых осложнений у рожениц. И на третий день они идут домой.

Ну вот, и с посещениями закончили: в любое время, в чем угодно.

И все это без ущерба для больных! Объясняйте это как хотите, я тут бессилен. Конечно, можно было бы говорить о чистоте, о постоянных уборках. Не знаю, не знаю

Вы знаете, чем больше я пишу, тем больше я понимаю, что взялся за неподъемную тему: вот тут чуть-чуть прикоснулся к теме оплаты за медицину, хотя вы этой темы и не почувствовали, и понял, что об этом тоже надо писать, а это очень большая и интересная тема. Коснулся вопроса о питании и понял, что и об этом, конечно, надо рассказать.

В общем, чем больше пишу, тем больше понимаю, что я только-только начинаю эту тему о больнице и об израильской медицине, с точки зрения именно обывателя, не специалиста.

Ну вот, а теперь о самой больнице, т.е. о лечении уже в конкретном отделении. Я писал уже о том, что после тяжелой сердечной операции выписывают, как правило, на шестой-седьмой день. Я не специалист, я обыватель, и пишу с точки зрения обывателя. Я не понимаю что делается, как все это объяснять. Но вот — Яша, мой родственник, он живет в Цфате (это на дальнем севере Израиля: целых три часа езды на машине). Да, так вот он перенес такую операцию, он на пять лет моложе меня. Я был у него на второй день. Он сидел в кресле! Он был весь опутан трубочками, проводочками, подключен к компьютеру, еще к каким-то аппаратам, на экране какие-то зигзаги бегали. Но сидел! И он уже ходил в этот день! Я повторю: на второй день после операции на открытом сердце Яша сидел и ходил!! А на седьмой день дочка приехала за ним и увезла домой на машине за двести пятьдесят километров. Не на амбулансе с носилками, а на обычной легковой машине!!! Но я не о нем, я — о системе.

Когда нужна операция (не экстренная, естественно), то все обследования предоперационные проводятся до больницы, это было бы для больницы слишком дорогим удовольствием. А действительно: почему я должен идти сдавать кровь на анализ, там — на рентген, на ультразвук, или еще куда-то и куда-то в течение недели, вставая утром с больничной койки. И не могу делать то же самое, вставая утром с домашней постели? И только за счет этого увеличить пропускную способность больницы вдвое втрое! Кстати: мое отделение, урологическое, это — сплошная хирургия, имеет всего двадцать четыре койки. А рядом, занимая ту же половину коридора — «Общая хирургия» — тоже двадцать четыре. Я был поражен: всего двадцать четыре в громадной городской больнице?! А потом хирург из того отделения, мой добрый приятель, объяснил мне, что по количеству операций, по пропускной способности, его отделение равно хирургическому отделению с 72-я койками в московской больнице, а это уже громадное

отделение. Вот так.

Больной, назначенный на операцию, получает открытку (как правило, дублированную по телефону): – Ты должен явиться (в иврите нет обращения на «вы» к конкретному человеку) в больницу на операцию в ... часов, такого-то числа, натошак, имея при себе ... – перечисляются все анализы и обследования. И вот, сделав все необходимое, собрав все бумаги, человек является в больницу, прямо в свое отделение. Операция или в тот же день, или на следующий, как правило не позже.

Вот так и у меня было. Только, ради Бога, я ведь не о своей болезни рассказываю, а о больнице. Но так как о больнице – на собственном опыте, то невольно приходится касаться и своей истории.

Ну вот, пришел с кучей бумаг, снимков, анализов, разместились. Вечером приходит врач: – Знаешь, – говорит – мы с тобой говорили о легких вариантах, но сейчас решили делать большую полостную. Спасибо вам в сумку!

– Ну, что ж, – говорю – вам виднее.

– Вечером – говорит – чашек, а утром – ничего!

Рано утром на моей же кровати повезли меня куда-то по этажам в предоперационную, переложили на каталку, пристегнули и поехали в операционную. Каталка – она же и операционный стол.

После операции выкатили в послеоперационную. Подключили к каким-то системам. И, пожалуйста, заходите родные и близкие, правда, по одному. И тоже без халатов. Кстати, их вообще в больнице почти нет. Обычная одежда медиков – белые (могут быть голубые, зеленые) брюки и куртки из тонкой хлопчатобумажной ткани.

Прележал я там час-полтора, подвинули в палату, вкатили в своей кровати на свое место. И вот после операции пробыл я там две недели.

И вот две недели моих наблюдений.

В день операции ничего не ел и не пил. Само собой, с

первой минуты под капельницей. Что там лили в меня я не знаю, я не врач. Я просто пытаюсь для себя и для вас определить, что такое выхаживание, благодаря которому люди быстрее выздоравливают. Ведь хирурги и здесь и там хорошие, а вот выхаживание... А выхаживание – это сестры, санитарки, их уход, внимание, помощь... Вливали в меня очень много, и разного. И не было случая, чтобы кончился баллон, и его нужно было бы менять, а никого бы вот не было и где она там... Через каждые несколько минут сестра появляется и в строго определенное время.

На другой день начальник отделения на обходе, просмотрев бумаги, мельком взглянул на меня, располосованного как селедка, и изрек уходя: – Можно кушать, вставать и ходить. Через некоторое время приходит молодая женщина-физиотерапевт: – Давайте вставать!

Одно дело слышать о таком, а другое, – когда ты лежишь и боишься пошевелинуться. А тебе говорят: – Вставай! Как вставать, ведь там еще все... еще не начало заживать, еще не подсохло! Что же это такое делается, это – все происки все той же израильской военщины, известной всему свету! Караул! А она, видимо, сама тайная террористка, вроде бы как мило улыбается: – Давайте руку, вот так, повернитесь, приподнимитесь, леад-леад (понемножку, понемножку). В общем, с ее помощью встаю и усаживаюсь в кресло рядом с кроватью. Ну, думаю, сейчас отлепится. А она: – А теперь вставайте и пойдем погуляем. Это на второй день после операции. Так их учат у Бен Ладена!

В этот же день приходит сестра, дает два халата (это специфика нашего отделения: два халата один на другой: один завязками спереди, а другой – сзади), полотенце, мыло, губку: – Идите, примите душ.

– Как душ, ведь там еще свежий шов!

– Ничего, ничего. Только шов мочалкой не трите, только руками.

Кстати, шов не нитками зашит, а металлическими скобками (штук двадцать). Каждое утро меняют постельное белье, халаты. И вообще – в коридоре шкаф, в котором в любое время можно взять белье, халаты, полотенце.

Палаты большие, в каждой три кровати (и занавески, как я говорил выше). В каждой палате туалет и душ. Около каждой кровати на стене кронштейн для телевизора, который можно получить за небольшую плату. В палатах идет постоянная уборка, раза два-три в день. Через неделю нас выселили в другую палату, вынесли все вещи, тумбочки, полностью освободили комнату. Пришла целая бригада молодых ребят, и сделали они такую уборку! На пол (линолеумный) вылили многолитровый баллон какой-то жидкости (не пахучей), долго растирали какой-то могучей машиной, вроде гигантского полотера, потом так же стены, окна, двери. Вытерли, дали высохнуть. Поставили все на свои места, нас вернули, и принялись за другие комнаты. Так что – когда я говорю, что чистота идеальная, это так и есть.

Питание. Никаких столовых нет. Привозят в отделение тележку со многими, многими ячеечками. В каждой – поднос с готовым обедом, или завтраком, или ужином, и разносят каждому на столик, откидывающийся от прикроватной тумбочки. Питание – более, чем... и вкусное. Вот час назад я делал перерыв на обед: чашка куриного бульона с вермишелью. На второе – большая куриная нога, гарнир – вкусный рис и вареная морковка (почему я пишу – морковка, а не морковь? А дело в том, что здесь есть сорт крохотной морковки до трех сантиметров. Сегодня я ее вначале принял за крупную фасоль в томате, она очень вкусная), помидор, огурец и кусок арбуза. А вчера вместо куриной ноги были два пашлыкча. Все о питании, маспик (хватит, достаточно). Нет, вот еще что: в коридоре есть место, где всегда есть кинятко, чай, кофе, сахар, молоко. И стаканчики разовые, и ложечки.

Я пишу это письмо (или записки, или воспоминания, я

уже не знаю, как это правильно назвать) с утра, а сейчас уже пять вечера, с перерывом на обед, процедуры, пятиминутные прогулки по длинному коридору и телефонные разговоры, но чувствую, что до конца еще очень, очень далеко и вряд ли я сегодня закончу. Но вот о больнице, об отделении, где я конкретно лежал, я закончу обязательно.

А осталось мне самое интересное и самое приятное. И самое главное, на мой взгляд, от чего зависит выживание после операции, и это не менее важно, чем сама операция. Это о сестрах и санитарках. Когда я говорю о сестрах, это, в том числе и о медбратях, но просто привычнее говорить – сестры. За то время, что я там был, я насчитал девять человек, в том числе трое ребят. Так вот от них, от всех, зависело, как быстро я буду выздоравливать, какое будет настроение, как будут заживать раны, и какое впечатление у меня останется от больницы. Я все время думал об этом, анализировал. Я понимал, что меня будут расспрашивать, или я сам захочу рассказать, что было хорошо, что – не очень, а что и плохо. Так вот я вам скажу, что я ничего не нашел со знаком минус!

Ну, во-первых – абсолютная доброжелательность в любых ситуациях. Ну что я имею в виду: вот, например, иногда начиналась ночью сильная боль. Я очень не люблю вызывать сестру кнопкой, неудобно как-то, особенно посреди ночи. Но приходилось иногда. Сестра появляется максимум через десять секунд, полная желания немедленно помочь. Ни одного неприязненного, хмурого взгляда. Первый взгляд на баллоны: не опустился ли верхний, не переполнился ли нижний, потом, вопросительный, на меня: – Что?

– Да вот болит очень. Думал пройдет, а не проходит..

– А зачем ты ждал, зачем терпел, боль тебе не помогает, она вредит выздоровлению. Быстро несет шприц, укол.

– И не терпи, если будет больно, зови меня немедленно!

Каждое утро: – Как себя чувствуешь? Ночью жарко было

ло, вот белье, сходи в душ, а я пока белье поменяю. Ну, и так далее во всем. Строжайшим образом, минута в минуту прием лекарств. И раз десять в день просто зайди спросить, как я себя чувствую, не нужно ли чего. И это все без исключения, среди них было шесть русскоговорящих, т.е. как и мы – из России. Одна из них – врач, кандидат наук, но устроиться по специальности сразу не могла, а на ее счастье у нее был и диплом фельдшера. А без этого, будь ты хоть профессор, а медсестрой не имеешь права. А потом, через несколько лет, и по выслуге начала больше получать, а, надо сказать, здесь профессия медсестры весьма уважаемая и хорошо оплачиваемая, и она уже так и осталась, хотя и была уже возможность...

Вот это все и есть выхаживание, а не какие-то там непонятные чудеса.

И вот сегодня я несколько раз поднимался в «свое» отделение, где был оперирован пять месяцев назад, чтобы увидеть кого-нибудь из этих сестер и ребят, которым я благодарен не меньше, чем доктору Зильберману, который меня оперировал.

Ну вот, на сегодня я кончаю, нет сил больше писать, и так уж... Но тема не закончена, буду выбирать время дома. 3. 08 02.

4.08.02. Картинка из нашей жизни.

Утром слышим по радио – очередной тер. акт: взорвали автобус, десять убитых, много раненых, не в Иерусалиме. Сидим в палате втроем, переживаем. Единдушное мнение, что начинать надо с того, что в начале надо бы передавать наших «голубей», защитников «бедных несчастных палестинцев», нашу пятую колонну (есть такие сволочи в Кнессете), а потом уже и за тех взяться. И тут заходит жена одного из наших и говорит, что только несколько минут назад был взрыв уже в Иерусалиме. Погибших нет, но много раненых. Я тут же пошел в основной зал приемного отделения. Обычная жизнь: десятки каталок с поступившими больными, вокруг – сестры, врачи, обычная картина... И вдруг, смотрю – сотрудники «Моген Давид адом», а они выделяются яркими красно-

белыми куртками, ввозят каталку с человеком. Спокойно, не размахивая руками, никому ничего не рассказывая, как обычно, завезли куда-то в кабинку, ушли. Через две минуты еще одного, еще одного... И никто, наверняка, и внимания не обратил – радио не слышали, свои проблемы... Да и если кто и обратил внимание: ну что ж, амбулансом кого-то привезли: мало ли аварий на дороге, жена мужа любимого сковородкой по куполу трахнула, мало ли что бывает... А в эти минуты во всех иерусалимских больницах, в операционных, сейчас жизни нашим пострадавшим спасают. Вот такие дела.

17.07.04. Как вы уже поняли, я продолжаю эти записки через два года. За это время накопилось достаточно много информации на эту тему. А, кроме того, я еще тогда обещал задать вопрос об оплате медицинской помощи в Израиле.

Нине за это время сделали две глазные операции: убрали катаракту с заменой хрусталиков. Так что она теперь блестит глазами, как будто там бриллиантики внутри. Причем под наблюдением был один глаз, а второй так, только зачатки... Назначили день, все, как я рассказывал. Привезли мы с Ромой Нину, уложили ее на каталку, полностью переодели, даже белые тапочки одели, покапали минут двадцать в глаза, и увезли. А нам предложили посидеть в креслах, подождать. Через часик вывезли, на глазе (на глазу?) целлулоидный полупрозрачный колпачок приклеен. Минут двадцать-тридцать полежала и, пожалуйста: – Можете ехать домой. Каждые четыре часа капайте вот эти капли, через неделю покажитесь. А месяца через три, когда глаз «устоялся», врач говорит: – А вот теперь второй глаз сделаем.

– А зачем, там же почти ничего нет!

– А у нас порядок такой: если мы начинаем, то уж лечим оба глаза. Точно так же сделали и второй глаз.

Должен вам сказать, что действительно, всем, кому из наших знакомых оперировали катаракту или глаукому, делали оба глаза. Так принято.

Правда мне сделали только один глаз, но у меня совсем другой вариант: в сетчатке левого глаза зачем-то образовалась дырка, и ее зашивали. Это более серьезная процедура. Три дня я там мордой вниз сидел или лежал и еще неделю – дома. Правда, потом опомнились: как же так, только один глаз, нехорошо. И тут же обнаружили быстро прогрессирующую катаракту, в ноябре, говорят, будем делать один глаз, а там и второй. Им только дорваться!

Ну и еще за этот период мне сделали два центура. Для неграмотных: это когда в бедре делают дырку в артерии, и через нее, артерию, лезут в сердце, чтобы расширить там какие-то сосуды, вставить там какие-то баллоны, колечки, всякая такая чертовщина. Это, кажется, та самая процедура, которую какой-то самый знаменитый хирург делал Ельцину, и шум был на весь мир. А может я и ошибаюсь.

Так вот один центур стоит двенадцать с половиной тысяч долларов! А мне два сделали. И если вы думаете, что все это (центуры, глаза мне и Нине, урологию, ноги; и пр. и пр.) нам, пенсионерам, а точнее – живущим на пособие по старости (кто старый?????) делают бесплатно, то вы глубоко ошибаетесь. Каждый месяц из нашего с Ниной пособия в напу страховую медицинскую кассу высчитывают 88 (восемьдесят восемь) шекелей. Это, ни много, ни мало, а целых, примерно, двадцать долларов! А вы говорите – дешево!

Лекарства, по официальным рецептам от своих врачей, покупаются с громадной скидкой, а мы, пенсионеры, платим половину от оставшегося. Несколько примеров. Глазные капли стоят около сотни, а я плочу шесть шекелей. Упаковка (на месяц) таблеток для укрепления костей для Нины стоит примерно 400 шекелей, а Нина платит около сорока, Ну, и так далее.

Ну, все. Хватит о медицине. И вообще хватит.

На этом я заканчиваю свой великий труд.

Оглавление

Моим друзьям 3

Первая работа 5

Начало 8

В далеком, далеком... 39

«Аннушка» – машина серьезная 50

Обычное дежурство на Диксоне 109

Боевая тревога 136

Штрихи 148

Алия, она у каждого своя 178

Золотой Иерусалим 204

Кожаные куртки 229

Лежу я в больнице... 238